



Вячеслав Карпенко

Истинно мужская страсть

*рассказы о людях
и других животных*

18+

Вячеслав Карпенко

Истинно мужская страсть

«Автор»

2019

Карпенко В.

Истинно мужская страсть / В. Карпенко — «Автор», 2019

Книга Вячеслава Карпенко «Истинно мужская страсть» — не только об охоте, но и о выборе, который рано или поздно предстоит сделать в жизни каждому. Стать ли охотником? Жертвой? На кого охота? На зверя или на соседа по дому, на коллегу по работе? И вместо пули — донос, как лестница в карьере. Шлейф этой страсти — от туземцев и их «благодетелей», до благонамеренного современника. Где та грань, переступить которую — утратить себя... Это — философская книга в остросюжетной форме.

© Карпенко В., 2019

© Автор, 2019

Содержание

Проклятие (Мороки...)	5
Глава первая	5
1	5
2	7
3	9
4	12
Глава вторая	15
1	15
2	17
3	21
Глава третья	25
1	25
2	27
3	28
4	32
Глава четвертая	36
1	36
2	38
3	42
Глава пятая	48
1	48
2	50
3	53
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Вячеслав Карпенко

Истинно мужская страсть

Проклятие (Мороки...) «На круги своя...»

«– ...Много выпало на нашу долю, всего хлебнули, – рассказывал спустя полвека бывший председатель райисполкома Тонкуль Глотников. – Лужина слышали? Здесь в ссылке был. О, умный человек, образованный. Мы с ним организовывали... Но ошибался, не туда пошел, врагам помогал, шпионом оказался... К высшей мере справедливости! Еще Гарпанча нам помогал... был такой, да несознательным оказался, шаманам сочувствовал... потому и приговорили его.»

(Из воспоминаний Тонкуля Глотникова, активиста 30-х годов)

Глава первая

1

Строение это здесь неожиданно и несуразно, хотя сделано оно из бревен и должно бы сливаться с отступившими вовсе недалеко деревьями.

Открывается оно лишь когда пройдешь извив Тембенчи, который река делает вокруг скального бока большого холма. Река неширокая, камнем можно перекинуть берега, но вода в ней уже темна и движется тяжело, плотно – даже взрослый олень выходит много ниже, если решит переплыть на другой берег.

Левый берег реки смотрится тяжелее, грузнее правого, здесь тайга подходит к самой воде, да и сам берег чаще скалист и обрывист. На правом же берегу светло, и глазу туда смотреть вроде бы веселее, но то обманчивое веселье: там живет болото. Деревца по нему растут хилые, редкие, а кустарники лукавые и цепкие, прикрывают они собой болотные омуты, что дышат даже в самые лютые морозы. Сюда и зверь-то редко уходит.

Туда и отправится старый Сэдук со своей собакой Итиком, когда люди откажут ему в праве оставаться на их земле... и на его земле – да, в которой ему будет отказано, и с этим ничего нельзя поделаться, уходить придется. Большой Иван догадается, конечно, что нечего Сэдюку делать на правом берегу, и пойдет по следу, не оставит в покое теперь, до конца не оставит в покое, пусть...

Левый же берег хмур, насуплен, темен и тяжел, глухой лес уходит на юг немерянно и надежно скрывает живущих в нем. Тем неожиданнее возникает из-за скалы тому, кто идет по реке с низовья, огромная поляна, подковой отодвинувшая в этом месте тайгу от реки. И там, на изгибе подковы у леса, это строение: на частых грузных сваях срублен из толстых бревен длинный лабаз с маленькими оконцами, забранными коваными прутьями.

Фактория Ивана Кузьмича Бровина – единственное место на многие сотни верст вокруг. Большого Ивана – так еще его знают здесь лет уже двадцать с лишком.

Теперь сентябрь, солнце еще тепло несколько часов, а потом подступает стынь. И хоть день пока долог и светел, но пора бы уже Ивану Кузьмичу собираться в обратный путь, да и

делать бы ему здесь нечего – есть же приказчики, а он как пришел ранней весной, едва в мае прошел лед, так и торчит здесь все лето...

И сейчас вот он угрюмо сидит за грубой столешницей в небольшой «хозяйской» части, для которой к лабазу пристроен четырехугольный сруб, свежим зубом вонзившийся в скопище пихтача: спиленные деревья даже послужили фундаментом для пристройки, а живые стволы так тесно обступили, что некоторые чуть ли не трутся о стены, и их поскрипывание при ветре можно даже слышать в жилье.

Бровин сидит молча, и давно остыл густой черноты чай в его собственной кружке тяжелого голубого фаянса, которую поставила перед ним его сноха, красавица Любовь Васильевна, что увязалась-таки за ним в этом выезде. Иван Кузьмич хотел бы сейчас на нее озлиться и сорвать зло, да не может – любит ее. «А зря взял бабу... все от них невпопад», – так уж, по-привычному, ворошится мысль.

Сидит здесь еще попик, отец Варсонофий, маленький и щуплый, будто подросток, а выносливый и непряхотливый, как бродяжка, и лицо у него – как у мальчишки, тонкое лицо, с румянцем на скулах, а волосы густы и седые, как и аккуратным клинышком борода. «И поп еще... ишь... отец! Бродяга», – все так же не может собрать мысли купец. И больше для того, чтобы самому укрепиться и себя подстегнуть на действие, гирей-пудовкой опускает кулак на плаху стола.

Это не удивляет ни красавицу-сноху, ни моложавого попа. Чего-то в этом роде они даже ждали от него – надо же куда-то излиться беспомощному молчанию.

– Вот такие дела... отец Варсонофий, – говорит Иван Кузьмич, и голос его звучит еще более тонко, чем обычно, прямо писк какой-то.

При грузной могучности человека, при будто отлитой голове на столбовой шее такой голос купца неожидан, он и сам это помнит всю жизнь и давно уже в хорошие минуты может посмеяться, когда незнакомые собаки и те недоуменно поднимают морды вверх по его почти двухметровой плечистой фигуре, ища, кто же это может говорить так-то, фистулой. Хотя частенько в детстве, да и позже нередко, приходилось ему кулаками добиваться к себе почтения хоть внешнего, которое голосок его смазывал в момент, несмотря на отпущенную природой стать. Что к чему было придано или недодано при рождении – то ли сила к писку, чтобы не падал духом, то ли голосишко к могучести и мужественности, чтобы не заносился высоко?.. – неясно, только Большой Иван всю осознанную жизнь томился таким равновесьем в себе, хоть и приучил себя даже и подсмеиваться над странной прихотью своего создания. Нынче же ему не до шуток, он снова пробует крепость столешницы кулаком в такт собственным мыслям.

– Та-ак-с-так...

– Да, пора бы собираться, Иван, – от низкого рокотного баса щуплого попики заколебался огонек свечки у образа.

Женщина перевела веселые глаза с одного на другого. «Поменяться бы им... надо же!» – в который раз подумала, но теперь промолчала и удержала улыбку.

– Так будешь ты торговать, купец? – продолжал басить попик. – Смотри... и времени уж нет, а они все лето здесь... чуть от той зимы оклемались... жалуются мне. И верно – не по-божески, Иван, они теперь до других и не доберутся, зима вот-вот. Ты один здесь, вон уж сколько лет только тебя и знают... а у них шкурок-то много собрано... и на храм жертвовали. Чистые ведь дети! – отец Варсонофий пнул ногой мешок, который лежал под лавкой у его ног. – Дался тебе Сэдук...

– Тебе не мешаю их крестить, вот и ты не лезь... жди, раз увяз со мной, отец наш преподобный! Сам знаю: туго им без пороха, и к муке попривыкли...

– И к водке, Иван, и к водке ты их приучил... – отец Варсонофий ткнул укоризненно пальцем в стакан, стоящий перед ним и налитый вполовину, для убедительности махнул из стакана в рот. – Ф-фу...

– Не я... а привыкли, да – к соли, к чаю, к табаку – для того я и купец... а пушнину... тьфу, возьму, куда денется, не до мехов, – Бровин говорил почти шепотом, чтобы потяжелить голос.

– И не до грехов, вижу...

– Ну, грехи тебе считать. Должны они мне все, вот! И не простой тот оброк... – он поднимается на ноги, головой почти под потолочные плахи – Большой Иван, глухое раздражение еще бродит в нем, но попик скорее успокаивает его – потому и берет с собой. Да и тунгусы...

– Ты вот что, Любаша... со мной пойдешь, – он взглянул на сноху. – Раз уж так... Да-а, подбери там в корзинку – чаю, сластей там, бутылку, табак. И... пороху пускай Еремей мешочек положит, со свинцом тоже. Давай, пока не тёмно.

– К Сэдюку? – спросил священник.

– Ты пей свои чаи, отче. Водки пока добавь. Или кагорю? Без тебя схожу...

Купец выходит на широкое крыльцо. Здесь, свесив ноги с помоста из широких досок, на сваях же примкнувшего к лабазу по всей длине, два молодых работника. Они замолчали, увидев хозяина. Третий рядом ловко колот на широком пне напиленные горкой чурки. Этот – крепкий хлыстоватый мужик с разбойной рожей и цыганскими услужливыми глазами. Его и подзывает к себе Бровин.

– Знаешь... – купец обвел глазами знакомую долину.

Чумов пятнадцать сгрудились у кромки леса поближе к реке; несколько стояло поодаль, среди них можно различить и большие шалаши, крытые берестой, навесы, поднятые шестами. Вились дымки над чумами, еще видные в подкрадывающемся вечере, бледным же казался и огонь у нескольких костров под навесами, возле которых сидели люди. Купец знал, что все они сейчас смотрят на него. И ждут. Давно ждут, с конца прошлой зимы которые...

На сходном к реке берегу лежат две большие плоскодонные лодки-шитики¹, широкие и поместительные, как баржи. Они проверены уже, прошпаклеваны и осмолены. Пора плыть, пора – прав Варсонофий, гляди, зазимовать недолго, вот шуга пойдет по воде. Всё – три дня последние, думает он, если только... если!

2

– Вас у Сэдюка искать прикажете-с? – прерывает его мысли приказчик, тяжелый колун на длинной рукояти он опустил почти до земли.

– Там. Только искать меня ни к чему, – купец помолчал, повел глазами по легко свисающему в руке колуну. – Ловко орудуешь... ты вот что, Игнат, иди к Еремею – можете торговать. Спирт разбавьте, сторит еще кто... И каждому инородцу долги напомниме, трезвому еще. Торгуйте. Чай, табак, безделицу бабскую, материю... ну, в общем, Еремей знает. По-прежнему никому – ни пороха со свинцом, ни муки, ни соли... посмотрим там. Давно им на охоту бы разойтись, пусть старый думает!..

– Вот и я! Всего набрала, – выходит на крыльцо сноха.

Она одета в песцовую короткую дошку с капюшоном, серо-голубой мех которого так мягко охватывает ее лицо с пламенеющими влажными губами, так оттеняет серые же глаза с тяжелыми ресницами, что Бровин только крякает и опять думает – напрасно, мол, взял с собой Любаву. Приказчик Игнат прикрывает замаслившиеся глаза, не столько завидуя, сколько одобряя хозяина – Игнат, как и все домочадцы купца, уверен, что Иван Кузьмич давно спит со своей сношенькой, иначе зачем бы и таскать с собой в такую даль; уверен и потому улещивает Любовь Васильевну без намека на мужские свои претензии. Хотя иногда – для своей утехи

¹ Шитик – крытая большая лодка (сиб.)

– и старается представить, как возвратится с войны сынок хозяйский и какая тогда начнется забава в доме...

Двое молоденьких подмастерьев уже давно вскочили и теперь с открытыми ртами глядят на женщину, будто впервые. Она-то привыкла к влюбленности вокруг себя и вполне равнодушна, зная безотказность своим капризам и в серьезных делах... да какие у нее могут быть желания, кроме как – вырваться бы отсюда поскорей, да еще одно, ради чего и увязалась в поездку... Она, конечно, знает, о чем шепчутся за спиной ее и свекра, но лишь передергивает плечами.

– Все взяла, – поднимает она корзину.

– Ла-адно, – пискает Большой Иван и хмурится. – Рты-то закройте да делом занимайтесь! Все взяла, Любовь Васильевна?

– И не шибко грабьте, – снова обращается он к Игнату. – Цены обычные. И втихую никого порохом не выдели... знаю. Пьянством не больно пользуйся... я проверю. Да отец Варсонофий всем не спустит, учтите от греха. По совести...

– Ну что ты, хозяин. Здесь всем хватит! – Игнат сощурил глаз цыганский вроде и доверительно, а рукой показал на несколько грязных мешков, на связки шкур, давно лежавших на помосте.

– Я сказал! – прошептал слышно Иван Кузьмич, и поймал согласный кивок приказчика. – По совести чтоб.

Он перевел взгляд на Любаву, как стал называть ее еще когда была она в девушках, еще со времени сватовства за сына своего. «Ох, далеко Кирилл, – подумал мельком. – А тут и на дух войны не чувствуется... благодать!» Но здесь же и вернул себе привычно-настороженную озабоченность, разьедающую его жизнь уже много лет: «Хватит!..»

– К Сэдюку, Любава.

– Вы прямо, батя, как к человеку собираетесь, – заметила она, спускаясь следом со ступеней.

– Сэдук – он только и есть среди них человек, черт бы его драл. Люблю его, да. Он ведь не только старейшина... это все ломается просто, он еще и мудёр на самом деле. И лечит... меня, считай, с того света вытащил. Давно как-то... может, после и расскажу. А ломать его нужно сейчас, иначе совсем упущу... много нынче по тайге шарят, наш же счет старый, – будто себе бормотал Бровин, поворачивая в сторону нескольких чумов, стоящих от реки дальше всех и почти сливающихся теперь с лесом.

– Что упустить-то? – она спросила так, чтобы поддержать разговор, и пошла рядом, прямая, гибкая и высокая – возле громады-мужчины гляделась женщина тоненькой ивой возле дуба. И знала то.

– Там увидим... ты посидишь, с Катериной его поболтай, приласкай девчонку, она тихая... заневестилась вот, для кого только такая золотинка здесь, – он приобнял Любаву за плечи, помогая перейти мелкую сухую канаву и подниматься по некрутому бугру.

– Вправду хороша? Лучше меня? – молодка подняла голову и нарочно откинулась на крепкую руку свекра, но в глазах ее, искрой незаметной, мелькнула тревога, которая голосом была переведена в шутивное кокетство. – Вот и привезли бы ее Кириллу... нашему!

– По-другому. А ты еще не видела? – он так удивился, что даже приостановился. – Четыре месяца живем... Скучно тебе. Ее Арапэ по-тунгусски зовут, то же, что Катерина... крестили при рождении. Я же и крестный. Уведешь ее поболтать, нам с отцом ее одним надо. Вот Гарпанчи, приемыша Сэдюкова, что-то не вижу...

Здесь им навстречу попался молодой тунгус. Было явно, что он подстерегал купца: улыбка на его круглом и рябоватом лице казалась заготовленной, потому что глаза, упрятанные тяжелыми веками, скрывали настороженность и хитрую звероватость, себе на уме глаза,

которые никогда не выдадут мысли хозяина. Одет он был даже и с некоторым шиком, что еще больше подчеркивали порыжелые голенища-бутылки у хромовых сапог, которые здесь носили редко. меховая жилетка расшита узором, а под ней – красная в черный горох рубаха, застегнутая под самую шею.

Шею свою парень еще напыжил от гордости, что может свободно говорить по-русски, и оттого она слилась цветом со стоячим воротом рубахи.

– Страт-вууй, Брофин-купес! – тунгус растягивал слова торжественно и протянул руку Большому Ивану, которому едва бы достал и подмышку. На женщину внимания он не обратил, взгляд скользнул, чуть задержавшись лишь на корзине. – Торговать пора быстрее, мы уже олешек кушать начали мало-немного. А оленя, знаешь, нам нельзя кушать, кто ходит нас по тайге тогда будет? Начальник говорил – ты должен торговать нам припас, эге?

– Да что ты? – купец остановился, навис над тунгусом. – я ведь тебя знаю, часто попадаешься... тебя как звать-то? Тонкуль? Это ты вчера крикнул тойону? Сэдюку? А, молодец?! Так какой начальник тебе это говорил, милоч?

– Не нужен нам старик без ума, выгоним – ты нам торгуй. Большой начальник, Лужин-господин приказывали, глаза у него сверху стеклянные, а в руках еще одни... мне давали смотреть – да-алеко видать! Хороший начальник, куфу пили... горько, тьфу.

– Ишь ты! – запищал купец почти весело, а тунгус поднял глаза и на голос Большого Ивана сузил их вовсе в щелочки. – И где это видел ты господина такого, скажи-ка, Тонкуль?

– А в тайге... далеко отута, – махнул рукой Тонкуль. – Еще в прошлом годе говорил, когда ты не приехал... а Ремей тоже не стал торговать припас. Ох, худо без припаса! А начальник все рисовал! Ударит по земле – пишет в бумаге... большой господин... друг-то-валиса мы ему, чуть пороха дал – мы сохатого ели! Вот!

– Кто это? – тихо спросила Любава, понимая, что фамилия та знакома Ивану Кузьмичу.

– Дал, значит... Да наш политик сосланный, Лужин. Мастер он, по земле грамотный – геолог, подрядил его на дело одно... Значит, ра-аботает... это хорошо, бесполезно, правда, знаю тот район...

– Начальник сказали, – снова начал тунгус.

– Ну, парень, и глотник же ты! Начальника уж нашел... ну-у – раз тот начальник сказал... да еще и друг-товарищ он тебе! Много пороху-то тебе выделил тот «начальник»?

– Кто таких – глотник? Не знали имя...

– А, это значит... веселый человек... и голос громкий, вот как у тебя, к примеру. Хорошо вчера кричал! Так много?

– Мало совсем, у самого мало видел... две заряда стало!

– Ну-ну, тогда подумать стоит. Ты всегда слушай, что начальство тебе говорит... как тебя... Тонкуль, да! – Бровин тоненько рассмеялся чему-то. – Скажешь Еремею, глотник, что я приказал тебе водки стакан от меня. А торговать... ну, поживем еще. Ходи, парень, готовь свой товар...

Все бы хорошо Ивану Кузьмичу... и чего бы ему смурным ходить? Чего ему недовольным быть? Все ведь идет, как задумано...

3

Крик раздался вчера, едва утренний поздний рассвет, будто придавленный к земле тяжелыми облаками, разлился над становищем, поплыл по свинцовой воде, темно завяз в сдвинувшихся к долине деревьях, сиреневым шаром покатылся по открытому правому берегу, за ночь тонко прикрытому снегом, который теперь начинал медленно испаряться.

– Проклятье тебе... Проклятье-оклятье... лятье... тье... бе... Сэдюк... юк... юк...

Кто кричал?

Разве это имеет значение, если люди собираются в единую толпу, если всем кажется, что каждый хочет того же, что все, если страшно людям порознь, а вместе легче вспоминается минувшая зима, в которую не приехал Большой Иван и которую тяжело пережили, а многие и не дожили до лета; если непонятно людям, как же заставить этого огромного их благодетеля, этого купца, из доброты и старой дружбы дающего им пока табак и спирт, как же убедить его оставить им в зиму порох и муку – ведь нельзя же уезжать, оставляя шкуры, запирая лабаз, где за дверьми есть все, но сами они никогда тех замков не отомкнут, даже если придется хоронить детей?..

К утру помер старый Дюрунэ, он еще мог бы уйти на охоту, а вот – помер, потому что не везло ему прошедшей зимой на мясо, не шел зверь в капкан, а стрельнуть было нечем, и Дюрунэ ослабел и не смог подняться за лето. Потому что и его родичам тоже мало везло зимой, муки же ни у кого не оставалось... И вот старый Дюрунэ умер, а он совсем немного моложе Сэдюка, а трое его детей от другой жены еще не охотники – их тоже должны будут кормить близкие...

– Проклятье, тебе – Сэдюк!..

Раньше еще и у Сигупэ помер маленький сын, не кричал даже – кровь у него из десен сочилась, понос был, потому что не шло из груди Сигупэ молоко, потому что тоже ослабла она зимой. А женщина не плакала, когда помер сын, – приказчик от доброго хозяина тогда спирт принес; смеялась женщина: сын там, куда старики уходят, легко там жить будет ему зимой... Сейчас же плачет Сигупэ, когда умер старый охотник Дюрунэ: вспомнила пустые десны сыночка своего, зима впереди, а в ней уже другой шевелится, живое жить должно...

– Проклятье!!! Сэдюк!..

Всем прошлая зима вспомнилась, каждому по-своему страх снова в глаза поглядел – свой страх среди общего еще страшнее кажется, а все же всех вместе собирает. Вот уж и снег срывается, давно охоту открывать пора, по своим местам разойтись пора... С чем? Не с чем охотиться, и муки нет, соль нужна; купец говорит – Сэдюк желтых камней пожалел, а золотом ни рыбу, ни мясо не посолишь, лепешку из него не замесишь. На маленьком ручье оно.

Всегда им все давал Большой Иван, сколько помнят – давал. Уж дети у многих на охоту ходили, всегда порох был. Детей не из луков стрелять учили, уже и старики которые – забыли: глаз мушку у ружья знает, палец курок нажимать умеет, а не тетиву натягивать... На маленьком ручье те желтые камни. На их общей земле тот ручей. Молчал Сэдюк, когда старики к нему ходили. Говорил непонятно – потом хуже станет... кто это знает – что «потом», умнее всех Сэдюк? Ведь тойоном его тоже Большой Иван сделал, не хотели старики, вот!

А без тех камней, купец говорил, он и сам помирать будет, ему дома тоже порох не дадут, и муку не дадут – зачем ему шкуры?.. Разве мало в тайге ручьев, что одного для Бровина-купца жалко Сэдюку, которому Большой Иван всегда другом был? Разве мало давал им всем прежде пороха и чая, и водку, и материю в долг? И другое, ни в чем не отказывал прежде купец, не жалко для него ручья... и песка в том ручье не жалко, раз нужен Большому Ивану тот песок...

– ...Много у тебя олешков, Тонкуль? – спрашивал Бровин у ближнего к нему тунгуса из тех, что собирались все же у лабаза, хоть давно ничего не отпускал им купец, вот и сейчас стояли молчком в ожидании чего-то.

Ласково, вроде, спросил, тоненьким своим голоском, и шею пригнул вбок по-птичьи, будто слово боясь пропустить. Придвинулись все поближе – добрый все же Большой Иван, не оставит их... Глаза же его внимательно из-под бровей глядят, в каждого словно – как обманешь, все знает о них Большой Иван: «Много ли олешков-то?»

– Мало совсем есть... – неуверенно бормочет тот, кого он Тонкулем назвал.

– Трое у него... слабые совсем, – выдвигается настоящий Тонкуль, оглядывается победно на своих и добавляет хвастливо. – Мы пять имеем! Одного тебе дарим: останься, ешь... поторгуй порох немножко. Мука ната!..

– Подожди чуть с порохом. Ты мне сколько должен... за прошлое еще?.. Еремей! – голос купца вдруг звенит высоко, и не смешно от его визга – теперь тревожно становится собравшимся в толпе, тунгусы сдвигаются тесней, какая-то женщина вжимает лицо мальчугана в собственную юбку, и он, едва начав хлюпать носом, затихает. – Отпусти парнишку, задохнется.

Это Иван Кузьмич попутно сказал и все вздыхают было облегченно, а под правой рукой купца появляется старший приказчик, сутулый, почти горбатый, сухой мужичок с длинными обезьяньими руками. Лицо Еремея густо заросло волосом до самых глаз, а глаза рыжи и злы, как у росомахи, гляди – прожгут непривычного насквозь.

– Э-тот! – снова почти с визгом тычет Иван Кузьмич в Тонкуля. – Что нам должен? и этот... тот вон... эти?! А ясак за вас кто платил?

«Умору я их, Сэдук... умору!» – вертится в голове Ивана Бровина-купца. – «И ты в том повинен станешь... молвой понесет».

Немало, ох немало перечисляет холодным голосом Еремей, горбатый и беспощадный, как росомаха: все они, что собрались здесь, должны купцу. Мешки и связки пушнины, брошенные на помосте и около лабаза, не оправдают долгов – не зря он ведь долгие годы не отказывал никому, даже поощрял наивную жажду обладания, отвадив других купцов бессовестно низкими ценами.

Одного хотел Бровин от людей этого рода... одно вынашивал, и только Сэдук мог расплатиться за них, упрямец! Все должны! и олешками своими не хвались, Тонкуль, или как там тебя, их тоже может забрать нынче Большой Иван.

Только...

Да, конечно: один Сэдук ничего не задолжал купцу. Он-то, старый Сэдук, который знает ручей на их родовой земле, может хоть сейчас получить и порох, и муку, и свинец, и соль, что хочет возьмет. Может, потому и все равно ему, что другие ничего не получают?..

Иван Кузьмич переглядывается с Еремеем: да-а, точно придумано, в самую точку угодил. Не только тунгусов знает купец, всех человек это свойство – обида и зависть... И страх, конечно. Видит Иван Кузьмич, как растерянно переглядываются, как плотнее собираются и медленно уходят несколько стариков и старух, им и прежде еще следовало уйти – старого Дюрунэ подготовить к дальней дороге в мир мертвых.

– Проклятье тебе, Сэдук! – Тонкуль постарался, глаз на купца скашивая.

Согласно молчат старшие, не оборачиваясь на крик, на тихий ропот людей, все еще чего-то ждущих у фактории. «Немного повесели их, так... по мелочи», – шепнул хозяин помощнику. Иван Кузьмич спускается с крыльца пониже, ему это ничего – он и без помоста высится над стоящими рядом.

– Ты прав, горе несет роду старик, другой он стал, прежнюю душу потерял, чужая в него вошла, – Большой Иван наклоняется к Тонкулю, говоря. – Пусть уходит Сэдук... А твое время придет, как тебя... да, Тонкуль, придет. Такие дольше всех живут... ты все получишь! Так даришь, говоришь, олешка-то?

Здесь он увидел отца Варсонофия, возвращающегося из чума, где лежал покойный Дюрунэ. Не хотелось Ивану Кузьмичу теперь слышать упреки попики и уговоры его, потому он хлопнул тихонько молодца по плечу и отвернулся. Кивнул еще Еремею – все, мол, правильно, и ушел в дом. «Водки от меня на поминки выдай, пусть», – проговорил еще на ходу.

И Тонкуль слышит, и другие люди слышат. Они тоже жалеют Большого Ивана: он и в самом деле платил за их род ясак, когда выпадал плохой год и мало было горностая и белки, и соболя тогда мало брали; правда, правда – купец и тогда не отказывал им ни в чем, говорил, что они с Сэдуком сочтутся по долгой дружбе... почему же старый теперь не помог другу?.. разве не Большой Иван привез бумагу и сделал его тойоном?.. почему теперь о роде своем не хочет думать старый Сэдук?.. видно, и вправду чужая душа вошла в Сэдука... пусть уходит

от них с такой душой, не жди добра от души из харги, из нижнего мира... пусть туда и уходит с ней Сэдюк...

Дольше всех задержался у крыльца Тонкуль. Перекрестился, как учил отец Санофей, когда тот прошел мимо и кивнул. Может его, Тонкуля, сделает тойоном Большой Иван? Тогда он возьмет Арапэ к себе женой, ничего, что они одного рода... не так уж и близкие они, да и кочевали всегда отдельно от семьи Сэдюка... а Гарпанча всего только «иргинэ», пришлый воспитанник, хоть и самим Бровиным-купцом принесенный.

Тонкуль поймал на себе темный взгляд Еремея, который подмигнул ему: ничего, мол, паря, иди. Тунгус боялся этого приказчика, хоть тот ничего худого не делал и считал шкурки лучше веселого Игната. Глаза его жгучего боялся и сгорбленной цепкой фигуры, на волка-агилкана похожего, на лешего полуночного... И потому Тонкуль считал хорошим признаком такую вольность Ремея. Чтобы соблюсти себя, он подтянул голенища своих сапог, как делали это форсистые молодые работники купца, но старший приказчик уже повернулся к нему спиной и зашел вслед за попом.

4

«Вот так, Сэдюк, – думал Иван Кузьмич. – Вот как повернулось... что же теперь? Уходить теперь, а куда пойдешь?.. поговорим...»

Они еще не дошли до знакомого купцу чума, в котором он бывал не единожды и не только в это лето, как повалил липкий снег, крупными набухшими хлопьями он тяжело опал на землю.

– Ну, вот и дождались! Ну, не зима еще – зазимье... а все гудок, – Бровин провел ладонью по бороде, сразу заморекшей. – Давай заходи, Любава. Теперь уж вовсе некогда нам здесь... сгинет старый.

– По мне так... – она сказала это тихо и не стала продолжать, но он и так понял, хоть и промолчал. «Домой ишь... зря-а...» – думал.

Откинув полог, он пропустил сноху вперед, потом, чуть не вдвое согнувшись, зашел сам. Женщина придержала дыхание, потом осторожно выдохнула и вдохнула свободнее – здесь пахло хвоей, какими-то травами, смоляным дымом и лишь едва ощущался кисловатый запах сырой кожи.

Глазам еще надо привыкнуть к сумраку; колеблющиеся тени от языков пламени из-под котла в центре жилья пробегают по лицу старика, сидящего на постели, покрытой оленьими шкурами. Постель немного возвышается над очагом, и старик сидит на ней с поджатыми ногами, плечи его выпрямлены, а сухие руки с длинными пальцами лежат на коленях. Лицо у старика удлиненное, высокий лоб круто навис над темными глазами, узкая серая борода кажется металлической. Он не лыс, но волосы стрижены совсем коротко и тоже отдают металлом. Лицо же кажется вырезанным из дерева, давно вырезанным и потемневшим, а все же – хорошее лицо. Оно оживает, едва становятся видны круглые глаза, зеленоватые и очень даже живые, хотя и выдающие усталость. Или что-то еще, – грусть, боль?..

Становится светлее, потому что дочь старика поставила на пенек у очага свечу. Пришедшая женщина одним взглядом сразу оценивает прямо сказочную, диковинную и диковатую красу Арапэ; ревности эта яркость в ней не вызывает, как бывает это часто у привыкших нравиться, совсем другое все в этой девушке: и продолговатое, как у отца, но гладкое горячесмуглое лицо, и чуть скошенные к вискам зелено-серые глаза, и тяжелая коса, лежащая на замшевом нагруднике, едва приподнятом на груди; высокие ноги не может скрыть грубая юбка, падающая до тонких шиколоток; и при всей вроде бы подростковой угловатости тонкой фигуры – эта округлость во всем, в движениях тоже, отмечающих истинную, природой данную, изначальную

женственность, которая и силой не обделена, только иной, без грубости и натуги, присущей силе мужской.

«Прямо чудесна! – восхищается про себя Любава, она может себе это позволить без выискивающей пороки зависти, так свойственной женщине обделенной. – А губы эти... надо же, пухлые, наивные еще, а не дай бог!.. Краса». Знала она, что уж там, время красоте девичьей, а здесь все обещалось сохраниться надолго. «Как же теперь-то... – спохватилась Любава, она понимала, что в судьбе этих людей что-то опасно менялось; вчерашние крики инородцев она равнодушно относилась к сумятице низкой, как к грызне собак у порога, жизни чужой и не интересной, а теперь вот связывалось с лицами во плоти; и в красоте девушки усмотрела женщина ту растерянность и незащищенность цветка, на который неминуемо надвигается тележное колесо. – Что-то там старик должен Ивану Кузьмичу... или гонят их... куда?.. милая ведь девочка, а кому-то из этих тунгусов достанется... живи, с кем попало, рожай!»

Увлеченная девушкой и своими мыслями, Любава пропустила слова купца, который уже устроился на другом чурбаке и забрал из рук ее корзинку. Старик чуть кивнул ей, поймав ее взгляд и что-то поняв в нем, легонько положил коричневую свою кисть рядом с собой, приглашая присесть. Но она не села, только близко подошла к Большому Ивану, глыбой устроившемуся у огня, и смотрела, как тот достает из корзинки засургученную бутылку, яркую плитку китайского чая, пачку табака, как, задержав лишь на мгновение руку, достал брезентовый мешок с дробью, банку с порохом – бросил на шкуру рядом с Сэдюком, который лишь покосился на подарки, но ничем не выказал своего к ним отношения.

– Ты, Любовь Васильевна, пойдись с Катей... ознакомьтесь ближе, придется еще, – он обернулся и вернул корзину снохе. – Подари ей что там... конфетами побалуйтесь.

Девушка между тем тихонько поставила чашки на круглый низкий столик между мужами, положила поближе к старику темную трубку с длинным прямым мундштуком, поставила на камень к огню закопченный медный чайник. Подложила несколько сухих полешков, и огонь осветил лица, блики выхватили темное длинноствольное ружье на стенке, несколько ременных арканов рядом с ним, плетенную мордушку – корзину для ловли рыбы, небрежно прислонившегося к стенке божка, с длинным, как у хозяина чума, лицом, и плоским носом над узкими злыми губами. Но Иван Кузьмич смотрел в глаза старого Сэдюка, ничто больше его здесь не привлекало, даже связки беличьих и горностаевых шкур, даже кожаный мешок, в котором, он знал, наверняка собраны соболя, и хорошие – товар у охотников этого чума он мог бы принимать не глядя.

Сэдюк сказал дочери несколько слов, потом тихонько махнул рукой. Арапас потупилась, а Бровин обхватил ее ручищей за талию и на секунду ласково прижал к себе.

– Ты не чурайся, Катюша, не дичись – она добрая, Любовь наша, хоть и красивая. Крестный тебя в обиду не даст!.. что бы ни было... – он осторожно подтолкнул девушку к выходу и сказал уже снохе, ничуть не убавляя голоса. – По-русски она понимает, только дичится, разговори ее – ей теперь непросто будет жить. Но мы еще свадьбу ей справим, учти, друг... Да, что-то Гарпанчу не вижу, далеко ли он?

Последний вопрос обращался к старику, но остался без ответа.

Женщины тихонько вышли. Бровин ткнул пальцем в отдушину наверху, куда уходил негустой дым. Туда влетали разбухшие снежинки, собирались каплями по кромке и уже стекали тоненьким ручейком попологу.

– Вот и мухи полетели белые, Сэдюк, – и перешел на тунгусский. Говорил он свободно, слов не подыскивая – знал давно. – Так где приемыш твой? Еще не знает он... Неуж в тайге?

– Он охотник, Иван. Медведя пошел взять, людям мясо надо. Немного у нас оленей, чем кочевать?

– И тех могу забрать, – жестко сказал Бровин.

– Можешь. А кормить людей надо, знаешь ведь...

– Знаю. Вот я и снова говорю с тобой, Сэдук. Не из чего тебе выбирать теперь. Время уходит... и мне плыть пора, припозднился. Что делать будем?

– Мы долго ждали тебя, Иван. В прошлом году нарочно своих людей не присылал? И сам не пришел? – старик взглянул на купца и усмехнулся, так, чуть самую усмехнулся, краем глаза одним, уголком рта.

Они хорошо понимали друг друга. «Нет, не отступит старый... пропадет, – без выражения подумал гость. – И я...»

– Сколько лет мы с тобой встречаемся, а, купец?

– Много, Сэдук, верно. И не все купцом был, тоже верно... Арапас твоей сколько? Семнадцать? Да еще полстолько... помнишь, я тебе сироту принес?... это за три года до нее. Да... И сам тогда замерз было с ним, в горячке и добрел до тебя, повезло. И меня спас, и парня вырастил, Гарпанчу...

Здесь Иван Кузьмич вспомнил жалобу священника: «Некрещеный он, Сэдук, упорствует. Конкурент, мол!» Вспомнил вдруг, ни к чему бы, и усмехнулся, наяву представив обиженный рокот Варсонофьевского баса, и уже вслух сказал по-русски, отвечая собственным сетованиям: «Если б только тебе, отче...»

– Что, опять обижается на меня Санофий, – понял старик его мысль. – Напрасно. Скажи: я не мешал, пусть люди верят, в кого хотят... верили бы... пусть, если это их добрее сделает. Только как же, Иван? – не делает, а? Пусть не сердится... я же вот даже тебя понимаю, хоть бога его не знаю, и твоего ведь тоже... А со своими богами мне зачем же ссориться?

– Заберу я дочку, Сэдук. Там лучше у меня будет, а то...

– Потом. Ей со мной еще поговорить надо.

– Вот я и говорю: Бог един, такую малость простит. Не о том, друже, речь. Ты ведь знаешь, почему всё... и здесь я зачем...

– Знаю, Иван. И прошлым годом не приходил для того. Знал, ведь, что ослабнут люди, не могут они уж без тебя обойтись... – А как бог твой? – простит? Ну... И ты знаешь – ничего не могу я сказать тебе. Не моя тайна... И не их, не людей, право ее тебе дать. Ничего за эти годы не изменилось, Ваня! Большой Иван!..

Глава вторая

1

... Медведь был большой. И жирный. Гарпанча знал это еще в тот момент, как впервые увидел след. «Лето прошло хорошо, наелся дедушка», – подумал.

Он седьмой день шел этим следом, ожидая, что хозяин леса заляжет, пора бы ему. А тот все брел, не меняя направления, нехотя, скорее по привычке, путая следы и злясь на что-то – это охотник тоже видел по глубоким царапинам на стволах, по вырванным с корнем деревцам, вот и прихлопнутый, вовсе нетронутый зверем молоденький лосенок зря только попался под тяжелую лапу, невесть зачем забредя в эту чащобу.

Кружит амикан, кружит... «Верно скоро встретится с Григорием», – думает себе охотник. Гарпанча с начала выслеживания даже в мыслях стал называть себя тем христианским именем, которое дали русские при крещении. Он знает, что так надо, помнит всегда, как помнит, что старый Сэдук ему не отец, а спас его Большой Иван, купец нынешний. Бровин тогда еще и купцом не был, он бродил по тайге один, золото промышлял: тогда и набрел однажды на стойбище родителей мальчишки, которые уже остыли, а двухлетний Гилгэ еще цеплялся возле них за жизнь.

Он бы давно догнал медведя, если бы не вел с собой оленя. «Как привезешь, если Григорию повезет», – рассуждал, оборачиваясь и заглядывая в пугливые глаза, выказывающие, что животное тоже чует зверя. Итик, лайка Сэдука, кажется, и так уже недоволен таким долгим следованьем, но этого медведя нужно брать наверняка, Григорий же без ружья пошел. Рога-тина да нож. Старик учил охотника, рассказывал, но что толку от слов, когда одному на медведя ходить еще не приходилось. А брать надо: Сэдук стар, и люди на него косятся, говорят, что не дело было старику ссориться с Большим Иваном. Гарпанча очень хотел принести мясо, доказать верность слов отца, что жить можно и без пороха. Хотя он тоже не понимал, почему бы их тойону и не показать купцу, где лежит золото.

Сам бы он, Гилгэ, обязательно показал. Купец однажды пересыпал в ладонь юноши песок и камешек дал подержать, тяжелый камешек, Гилгэ даже понюхал его зачем-то, когда купец просил такие смотреть на речках. «Не жалко для Большого Ивана, – думал. – Почему жалко, мне не нужны...» А у Бровина, когда ссыпал обратно в мешочек, глаза краснели, как угли, на которые подуешь ночью. Но Гилгэ те камни не попадались.

И еще он благодарен Большому Ивану за то, что Григорий не родной сын Сэдуку. «Пусть облизывает жир с губ Тонкуль сколько хочет, – успокаивает он себя мыслями, дергая оленя. – Не будет Арапэ ему женой...» Даже закон здесь за Гилгэ, одного они рода – Тонкуль и Арапас. А с Гарпанчой никакие они не родственники, хоть и поила тогда своим молоком мать девушки. Брат Арапэ, ровесник его, умер, и мать тоже, остался один Григорий. Так он и называет себя, когда охотится на амикана – хозяина леса, их предка, хотя Арапас любит Гарпанча, а не Григорий; но пусть дух амикана думает, что выслеживает его Григорий – христианин, в десятую свою весну крещенный смешным отцом Варсонофием, у которого голос не хуже самого амикана.

Сейчас будто тот голос услышал Григорий, но откуда взяться здесь отцу Санофею? – Медведь, дедушка это.

Юноша подозвал к себе собаку одним шелестом пальцев. Потому что Итик тоже слышал и чуял, напрягшись всем телом, приподняв губы над клыками в беззвучном рычании, ветер к нему нес запах врага. «Григорий выследил, дак», – и юноша перекрестился, как учил отец Санофей, чтобы русский бог тоже помог охотнику.

Затем привязал оленя на длинный чумбур, чтобы сыт был и не сбежал, а из мешка достал маленького божка, которого давно дал приемный отец, и пообещал тому божку кусочек печени со свежей кровью от амикана, если духи помогут добыть зверя и отведут с дороги злую силу. Итик все понимал и ждал, подняв уши и шерсть вздыбив.

Дальше Итик побежал вперед, вбирая в себя воздух и тихонько поскуливая от возбуждения. Охотник знал, что пес теперь не промахнется, выведет точно и задержит, сколько надо. Рогатина была тяжелая, толстое древко ее морил сам старейший из цельной рябины, а где глава рода брал кованую двурогую насадку, Грапанча не знал, давно эта рогатина у Сэдюка, до того еще, как появился он, Гарпанча, сейчас притворяющийся русским Григорием, чтобы не узнал его медведь. Нож же он купил сам у Бровина, за своего соболя купил, и Иван Кузьмич хороший нож выбрал своему крестнику: вот Григорий чувствует на поясе – нож всегда под рукой.

Теперь Итик лаял уже громко и беспорядочно, он метался вокруг и старался не попасть под лапу здешнему хозяину. А тот злился, потому что он пришел на место, здесь он и хотел устроиться ночевать на зиму.

Охотник одним взглядом оценил небольшую прогалину, увидел вывороченные корни старой лиственницы, давно упавшей и уже покрытой мхом, отметил крону елки, как раз покрывшей поднятый лиственными корнями пласт земли, и большую яму под ними; верно, хозяин этот не один год здесь отдыхал, а может даже и родился в этой берлоге, потому что яма была увеличена явно самим зверем и груды хвороста натаскана им же.

Охотник сразу оценил и толстый ствол лиственницы чуть поодаль себя, и чистую, без кустов и травы, землю вокруг того ствола, а земля устлана отжившей хвоей, нехорошая то опора. Но лучшего не было, да и зверь уже заметил врага, их взгляды встретились, шерсть поднялась на загривке медведя, он рыкнул на увертливого хриплого пса и повернулся оскаленной мордой к человеку. «Большой амака, человек такого не видел...» – мелькнуло.

– Ки-и-к... – не совсем решительно каркнул Гарпанча, но и собрался с силой. – Ку-у-к! Ки-как!

Так кричит ворон, так ворон охотится, и охотник предупреждает дедушку-амака, что не один, мол, он здесь. «Это не я боюсь тебя... другой человек боится... это Гарпанча боится, Григорий я», – то ли думал, то ли бормотал охотник, чуя, как страх сжал затылок, а ноги заохлоло и на мгновение они стали мягкими. «Ки-и-к!» – снова поддержал себя и упругими теперь, от поддержки, ногами переступил к примеченному стволу, не отводя взгляда от зверя.

Итик казался вертлявым комочком рядом с громадным туловом медвежьим, наверное пес и был-то всего с голову да шею таёжного хозяина. Не мысли, так – тени мыслей проносились, как теньями была и память о стойбище, где трудно отошли за лето от прошлой голодной зимы, а мяса опять нет, и скоро совсем ляжет новый снег, а люди уже забили первых оленей, пропадут люди.

– Как кочевать тогда? Без оленя и без мяса? – спрашивал охотник медведя.

Мгновения все, как мысль. Потому что больше ведь не отпущено. «Дедушка» этот здесь дома и вовсе не рад гостю, собака которого норовит ухватить побольнее, задержать. Знает Итик, как надо. А охотник выставил острия перед собой, другим концом рогатины нащупывая упор у дерева. Рыкнул медведь и нежданно легко метнулся к человеку. Только ждало все же жало, прямо в грудь у плеча вонзилось, отпрянул было зверь, но здесь же поднялся с рыком натужным, громоподобным, протягивая передние лапы навстречу ожогу.

Сзади же Итик наскокивает, пасть шерстью чужой забита, тоже разъярился Итик, до живого достать норовя. Пытается хозяин, не глядя, отмахнуться лапой от пса. И ревет страшно, клыки желтые показывает, дух тяжелый из пасти слышен. Туда, пониже оскала и свет охотник рогулину острую снова, пока навис над ним зверь, а пес, как ждал, вцепился где-то внизу. Так всей тяжестью плечей и лап и насунулся, разъярясь, медведь на острие.

Вошел один рог под ключицу, другой наискось пониже – в середину груди... неудачно вошли рога, только боль несут, а не смертельно. Зверь же навстречу той боли прет, лапой с когтями домахнуть до охотника жаждет, пена из пасти течет.

Ничего теперь не изменить. На Итика, на дерево, в которое уперлось древко рогатины, да на нож надежда. Бог ли, дух ли помогут, а тень разъяренного зверя лежит уже на небольшом перед ним человечке. «Ровно Большой Иван...» – мысль ли, шорох ее, просто память?

Напряженно, жалобно постанывает древко под тяжестью... Итик! Собака попалась все же на отмашку звериную, отлетела назад, за лохматую спину... нож сам в руке... вот туда под лапы нырнуть, успеть и прижаться... мокрое брюхо и грудь, а нож сам понимает, куда ему идти...

Гора мохнатого мяса, булькая чем-то внутри, урча и тяжеловесно обмякая, навалилась на охотника, неверно завернула, будто выказывая на прощанье уходящую силу, неумолимо выдавливает из плеча Гарпанчи ту руку, что без ножа, больно становится, искристо и тошнотно... и дышать тяжело – мокрая шерсть все лицо закрыла, душный запах залил рот, нос, глаза темнью... а-а, Итик, жив, поди? – еле дергается бессильная неповоротная башка амикана – в ухо, что ли, вцепился Итик?... но тело медвежье еще горячее, еще толчками выходит из него жизнь, к этим толчкам можно приноровиться, чтобы выбраться... боком, пласью, ползком... ф-фу-ух! – выдыхает плотную надышанность Гарпанча и поднимается поскорее. Только левая рука не дает выпрямиться, обвисает и тянет все тело в свою сторону. «Ничего, – думает парень. – Неживой амикан-дедушка».

– Это не я тебя убил, это русский Григорий тебя убил... ищи его иди! – бормочет, как положено, Гарпанча медведю, а рука не хочет слушаться, и плечу горячо, делается оно большое, и рука тяжелеет. «Ничего, дедушке вот совсем плохо, неживой теперь», – успокаивает себя Гарпанча.

– Домой теперь повезем дедушку, – медведю и псу говорит Гарпанча, заставляет себя наклониться и вытащить нож, надо печень открыть: самому кусочек теплой поест, чтобы легче стало, Итику дать, божку обещал...

– Хорошие боги помогали Григорию тому, благодарит Григорий, однако, – пробует улыбнуться Гарпанча, но рука все мешает выпрямиться, а откуда-то из подвздоха будто выталкивается тягучая боль.

Все же он, глядя на зализывающего свой бок Итика, переваливает тушу медведя поудобнее, хотя для этого приходится стать на колени, почти лечь, и вскрывает податливое брюхо. А надо еще сходить к оленю, сделать волокушу, навалить на нее эту добычу, пока не закочелела. И каждый шаг дается все труднее, вислая рука тянет покорное тело к земле, мучительно тупая боль будит желание лечь поудобнее и забыться. Незаметно начавшийся снег на некоторое время поможет Гарпанче перебороть забытьё, но боль берет свое. «Рассердился на меня дедушка видно...» – проскальзывает еще мысль. – «Или духи мои обиделись...»

2

– Ты не выпьешь со мной, Сэдук? Напоследок? – спрашивает Бровин, покосившись на снежную бахрому, растущую по кромке дымволака чума, и зябко передернув плечами. – Ну, как знаешь...

Он наливает себе, пьет.

Старик пыхает трубкой, внимательно смотрит сквозь сизоту дыма на Ивана Кузьмича.

– Хотел я, Сэдук, сам взять тот ручей...

– Да, – кивает старик. – Хотел.

– Сперва сам... потом, отсюда уж, и людей посылал по твоим следам, знаешь? Не нашли... а кто не вернулся... нутром чую, доходили, а? Вот теперь... куда пойдешь, один ведь?

– Трудно вернуться... нет, не убивал я, сам знаешь. Тот твой желтый идол, знаешь, легко жертвы принимает... ты-то не постоишь за ними. Но не я помогу мой род бросить ему, Иван. Ты торгуй, хороший мех упустят люди, сами помрут – тебе же в убыток. Я уйду, не успокоишься ведь?

– Хватает рухляди, да и не в цене... другое время нынче, Сэдюк. А все равно не отступлюсь, голову положу – найду...

– Силы были б, горы навалил бы... как узнал о нем? Тогда? Ты ведь в бреду метался?

– И я думал поначалу, что блазнилось... да вот!

В огромной ладони Бровина лежал самородок. И он не казался случайной крупичей даже в этой лапе. Оба они знали его, только Сэдюк – вовсе недолго и так давно, что легко забыл; купец же, казалось, обкатал этот зеленовато-рыжий голыш по своей ладони за долгие годы обладания...

– Те-еплый! – тоненько пропел гигант, вздергивая голову, с нежной страстью пропел.

– Сволачь! Кудой! – ненавистно сказал по-русски тунгус, и ненависть та не к человеку напротив была обращена, а к этому куску, будто к живому. – Не знал я тогда, что и язык наш выучил для этого, Иван.

– Ну, не только для... здесь живу, купец я. На одном фарте да нахрапе недалеко б уехал...

Старый тунгус подложил в очаг, языки огня выплеснулись и словно обняли черный котел, пар из которого поднимался медленно вверх, смешиваясь с дымом из трубки Сэдюка. «Зачем вода-то... да, чай бы... что мне чай, сколько мы распивали уже, все уж», – шевелилось в голове купца, не складываясь ни в мысль, ни в действие. Оба молчали, только полешки потрескивали в огне. Заколебалось пламя свечи, старик поплевал на пальцы и снял огарок фитиля, посматривая на гостя, думая: «Долго Гилгэ ходит, молодой... Собираться уходить надо как же без Арапас куда возьму ох не так Иван...» Бровин сжал в кулаке самородок. «Как тогда» – оба думают.

Оба вспоминали тот далекий... «вечер? ночь ли?...»... третьи сутки мела пурга... «мокрая пурга дурная» – помнил о ней Сэдюк. Тихо всхлипывал мальчишка, принесенный Большим Иваном: «слабый мальчишка помер бы если бы у Кулпэ не оказалось в груди молока...», оба померли бы, не набреди на них Сэдюк перед пургой... а русский до сих пор в бреду и кричит необычным голосом... как зайчонок. «Вот постарели, а все пищит Иван», – улыбается некстати старик. Как зайчонок пищал, хоть такой тяжелый, что без волока не дотащить бы, жалко будет, если померет русский... но духи у Сэдюка сильные, они напитали травы, что помешивает Сэдюк, а русскому богу нет нужды вредить Сэдюку... «Ивану теперь наши вот не помеха», – усмехается. Ухэлог много сумел передать Сэдюку, а сам померет скоро, часто больно уходить стал один... так пристально смотрит последнее время на Сэдюка, вспоминает будто – не забыл ли чего сказать... оба они знают, что должен сказать Ухэлог напоследок. «Теперь кому скажу Гарпанча молод плохо поймет нет его может не надо вовсе» – перебивается память. А старейшего четвертые сутки не было... совсем ли ушел?.. – думал тогда – мокрая пурга летит, а потом мороз будет, худо...

Залаял и сразу смолк пес... «Итик?» Так Сэдюк зовет своего пса, звал... или теперь только? Нет, прикинул Бровин: «дед Итика залаял черт бы их подрал и мальчишка где-то теперь да что уж». Тот короткий лай почему-то прорвался в мутное сознание Ивана – он радовался потом этому лаю и тому, что Сэдюку не до него было... «только старикашка понял сразу ведь», что он очнулся и видит и слышит... может, даже учуял, что русский понимает их разговор... «Ухэлог? да тот был и помер сразу Сэдюка теперь я отправлю а толку» – мешалось в голове с быльем. Но тот не успел... или не хотел зачем-то?.. сказать Сэдюку а вот где ручей «проклятый» – «гос-споди во сне же вижу» – «черным» называл старик Сэдюку его, это успел

сказать, может, раньше еще... свои у них приметы, не мог Иван потом найти... Солнце ведь по кругу ходит: сколько дорог по нему, когда единственной не знаешь. Весь залепленный серым текущим снегом, почти на четвереньках вполз в чум тот старикашка... это потом Иван разглядел его – «ишь, наоднажды увидел, а помнится!» – как черный сучок, сморщенный весь человечек, а глаза при том... И хоть мутно было еще в голове, а понял Иван, самым нутром своим понял, что важный разговор у этих тунгусов. И что подольше бы ему не выказывать своего сознания. Он крепче притворил веки, даже глаза закатил под тяжелыми веками, чтобы натуральней лицо беспмятным казалось. Замычал, ворохнувшись, и руку в сторону уронил с ладонью бессильной... «Бог рассудит не отступлюсь теперь поздно» – думалось.

... – Гляди, – говорит Сэдюку старый и усмехается. Грустно смеется Ухэлог, и ехидно смеется, как лис у ловушки обгаженной.

Откинута рука русского бессильна. Кажется, что эти толстые пальцы сейчас растают и растекутся под бликами огня, кажется – большая ладонь сереет и колыхнется: как лепешка снежная, в лужу вот обратится... «помрет» – думает Сэдук, но лишь мельком.

– Гляди! – помнятся морщины на лице Ухэлога, вовсе скрыли они глаза от усмешки, но зато открыли белые и не старые еще зубы. Над ним, Сэдюком, та ухмылка старого лиса?... над бессильным русским, принесшим за пазухой мальчишку – «чуть грудь у Кулпэ не оторвал захлебывался умерла Кулпэ потом в другой раз» – прикрыл глаза, а морщины Ухэлога все видны, хоть давно ушел Ухэлог, тогда и ушел... Может, и над собой насмеялся? – «знаю теперь может и над собой» – оценил Сэдук, втягивая дым: чему еще улыбаться можно, промерзнув перед смертью в одинокой пурге?... над чем-то, неведомым тогда Сэдюку, что водило того, старого, к проклятому ручью?... Впрочем, усмешка Ухэлога и грусть собой скрывала, может и страх: «и меня поведет знать буду Арапас потом родилась а нельзя было...» Даже боль какого-то своего знания... будто предвидения чего-то, чему помешать он не в силах, теперь знает Сэдук чему: «прокляли они уходить теперь вовсе»...

– Страшный камень, – бормочет Ухэлог в памяти обоих, сидящих у одного огня в чуме два десятка лет спустя.

Бормочет и кладет на серую ладонь, на отброшенную в сторону беспмятную ладонь русского самородок... «этот самый зачем положил Ухэлог дай россомaxe мясо унюхать все разгребет все разрушит изгадит а доберется» – вздохнул, вспоминая как сжимает больной, будто в судороге, размякшую ладонь неожиданно в каменный кулак, и чувствует Сэдук, что никакая сила не способна теперь разжать эти сведенные пальцы.

– Видишь? – шепчет Ухэлог. – Шайтана поселяет в них желтый камень, безумными делает... смелыми, учти, жестокими. Вот: вовсе больной, может сдохнет... а не выпустит. Проглотит, пусть хоть кишки завернет... попробуй вырви – в горло вцепится.

«Нет, – скрипит старик, приглядываясь к лежащему, словно клюнуть хочет или принюхивается, – этот не умрет, правильно лечишь, но помни...»

И теперь, и теперь как тогда замерло у Ивана Кузьмича сердце, желваком врос камушек в ладонь: «догадается... догадался колдун», что притворство одно, что вовсе не в беспмятстве и не судорогой сжался кулак. Сам Иван сразу наощупь, на́груз понял, какой это камень положил ему в ладонь старикашка... «узнал колдун не отдам хихикает отвратно пусть»: ехидно смеялся, а умирал ведь уже, но пусть попробует разжать пальцы, под ножом не разомкнет Иван... «сколько лет а такого и отец не находил место знают не будут тунгусы не злопмятны откуда ох за горло бы встряхнуть да сам помирает без толку это погоди годи»...

Говорил ему Ухэлог гаснущим голосом, и Сэдук не прерывал, чтобы не тратить его силы, будет еще время самому думать. «Помрет теперь на слово жизнь тратится в меня дальше» – ухом к губам блеклым пониже клонился, как пил, а спокоен был, слушал: там и схоронит ста-

рика легкого, себя до слова изжившего, на ручье том, чтобы и дух потом его помогал Сэдюку хранить, как Ухэлогу другие, прежние.

Умер Ухэлог еще до утра, как уснул. Как ждал: пурга улеглась затихла. Только Большой Иван тоненько вскрикивал, прижимая к груди сведенный судорогой кулак, неудобно перекачываясь на этот огромный кулак всем телом. «Вот когда так и носит знал Ухэлог кому никого ведь не пускал других Иван сам вокруг старые оба некогда ему а я первый пойду» – пожалел вдруг Сэдук своего гостя.

– Да, с тех самых... знал бы, небось не варил свои травы, а, Сэдук? – оторвал взгляд от самородка Бровин. – Уморил бы...

Но тут же и замолчал – сам понял, что нечестно, что сфальшивил теперь, засмеялся: «шучу, друг, не так все» и суетливо спрятал золото за пазуху. С уходящим сожалением смотрел на него старик и насмешливо, но нахмурился: «ухожу, значит».

– Ладно, ладно... то далеко ушло... другое нынче, Сэдук, нет мочи ждать... и наощупь плутать больше нет часу. Старые мы, что тебе в упрямстве... тяжело ведь людям! – сказал Бровин, будто не он это «тяжело» построил. – Своим во врагах уходишь...

– И после нас люди жить будут, Иван. Ты сделал, чего ж беспокоен? Ко мне пришел... Гарпанча не знает, не делай его тойоном... жени, – старик взглянул ему прямо в глаза, даже наклонился вперед, поближе. – Не для сына даже делаешь... уплывай домой.

– Разве не помогал вам? – попробовал еще Бровин обернуть разговор. «В который раз, – и бессильная злость словно подвздох ударила. – Довольно бы нанькаться с тунгусишкой, уморю». Но перевел дыхание, снова поднял голову к темной отдушине. – Прошло, Сэдук, конец... как зиму переживешь?

– Ты для себя нам добро делал. Всё тебе отдавали.

– Каждый для себя живет, что мудрить, – устало бормотал купец. – И добро творит, чтобы самому хорошо было... или с ним так же поступали. Род твой... тебе самому покой нужен, совесть чистая, а?.. А чай твоим не нужен... и чтобы порох всегда был? Как иначе? Себя ведь ублажаешь...

Старик молчал. Они оба понимали, что разговор окончен, но и знали – последний разговор.

– Каждый сам ответит за свои дела, Иван. И ты не хуже меня ведаешь: взять да уйти... пусть огонь по земле, пусть кровь – все чужое. А нас мало...

– Я ведь тоже не под забором найден, Сэдук. И за мной народ тоже... разный, да. Без меня уже не обойдешься, – Иван Кузьмич будто бы себя убеждал. – Кто хозяйство ладит, добывать умеет, суету в дело связывать?... все купец. И не остановишь, не ты ведь первый и не я, так другие найдутся... земле стоять не дадут. Мудр ты, старый, а не поймешь, друже, что другое время сейчас... война идет...

– И такое видел, Иван: сына ведь не пожалеешь за тот камешек, – подумал тоскливо «пропадет Арапас... где понять девчонке люди не дадут забыть» – Не мне судить, Иван... маленьких людей легко не заметить, а ты ведь спокойно спать не будешь...

– Думаешь, эти годы спокойно спал?

– Не будешь... Не от меня, сам по себе. Спроси давай у Санофия, как по вашему богу тут быть? Жить мой народ имеет право? Как предки жили? – старик сощурился, выпуская дым, но Бровин уловил сомнение в его глазах.

– Не сможет уже... не надейся, да и сам понимаешь то: не во мне дело, что гонят тебя. А я тебя люблю, прости уж... – Бровин встал, языки огня взметнулись за ним вверх, тесно стало в чуме. Он наклонился и положил тяжелую руку на покатое плечо старика. – Не суди... за Катерину не болей.

– Мы с тобой, – закончил он визгливо, – в последний раз видимся, видно... Не торопись... к Ухэлогу! – «Пойдешь ведь туда и пойдешь знаю знаю куда тебе еще одному-то».

– Знаю тоже, Иван. Прощай, что ж...

Костерок затрещал за спиной Большого Ивана, согнувшегося на выходе в сырую серую ночь, но он больше не оглянулся: «к утру уйдет снег следы засыплет один совсем и собаки не видно». Он поскользнулся на липком снегу, однако сдержал рвущуюся из нутра матершину, выдохнул и шагнул на мерцающий огонек в соседнем шалаше.

– Собирайтесь. И ты, Катерина с нами пойдешь. Так отец сказал.

А когда девушка тихо вышла вслед за снохой, Иван Кузьмич постоял, сгорбившись, и шагнул к шалашу: обеими руками легко обрушил шалаш на землю. «Нет ему назад дороги», – решил под покорный хруст невидимых шестов.

3

... – Она с нами поплывет? – женщина стряхивала снег с капюшона и в глазах ее с пульсирующим от свечного света зрачком стоял истинный вопрос: «ох, надоело... когда же кончится? домой быстрее... скажу теперь».

– Никуда не пойдем... зимовать готовься, – отвел Бровин свой взгляд, но повторил. – Остаемся. Катерину с собой поместишь... пока.

– Арапас? – переспросила Любава, медленно осозная и еще не принимая смысла слов свекра. – Здесь... где-с-сь?!

– Да, Арапэ... Катерину... так и так – остаемся, дела меня держат. Все. Поздно уже, – он нахмурился: «как знал не брать а ведь повязал бес Еремею сказать след пусть возьмет господи мало греха на душе еще и это...» – свел брови. – Спать ложитесь.

Дочь Сэдюка сидела на лавке неподвижно, сложив маленькие смуглые руки на коленях, словно не ее имя произносилось. «Слушай Любовь, девушка», – тронул ее Большой Иван, и Арапэ встала на тихий оклик женщины – «иди за мной о боже да как же...» – и прошла за тяжелую занавеску, отделяющую каморку женщины от хозяйской комнаты. «Лампу возьмите», – задержал их на минуту голос купца, вставляющего стекло в зажженную уже керосинку, потом передал лампу снохе, и занавеска за ними опустилась.

Было слышно, как Большой Иван вышел, прикрыв за собой дверь, а светловолосая женщина поставила лампу на небольшой столик с зеркалом и, как была в дошке с отброшенным на спину капюшоном, рухнула всем телом на кровать и зарылась лицом в цветастую подушку. Рыдания ее казались Арапас неправдашными, она никогда не видела, чтобы плакали так откровенно и слышно. Девушка остановилась у косяка, опустив руки вдоль тела и чувствуя правой рукой жесткость занавеси, их двоих отгородившей. Смотрела она прямо перед собой на подергивающуюся полоску огня за выпуклым, чуть тронутым нагаром стеклом, и старалась не видеть подергивающейся в плаче спины.

«... Красивых детей родить можешь... нет, ты не уйдешь со мной... куда? – отец схватил ладонями ее лицо, склонился к волосам ее, вдыхая, глубоко вдыхая запах – так никогда не делал отец, даже подолгу пропадая на охоте и по возвращении, только вовсе маленькой помнит такую ласку Арапэ, когда умерла мать. – Ты с Гарпанчой останешься, за него замуж иди... Большой Иван вам поможет, знаю – да-а...»

– Он брат мне, – ответила ему Арапэ. – Как замуж... нет, брат он, – и решила: – Почему ты не скажешь людям... не дашь Большому Ивану... разве не друг он, обманет разве?

– Все сделает, девушка... не надо тебе... кто разрешит чужое отдавать? Не все с земли отдать можно... и Гарпанче передай. Не брат он, приемыш.

– Люди говорят – их земля... А мне?... как?... покажут на меня: вот дочь старого Сэдюка, он ушел в другой мир и... забрал с собой моего ребенка... как тогда? Ты болен, мне скажи... Гилгэ...

– Что поймет девушка, когда старики... – начал отец, а здесь вошел в чум Большой Иван с этой красивой женщиной... Лю-ба-ва... Почему она так плачет?.. Отец посмотрел когда уходили а Гарпанчи долго нет не знает он...

Слезы размыли предметы перед взглядом Арапас, она вдруг почувствовала цепкие горячие руки, шопот услышала в самые уши, щека увлажнилась от чужой влажной щеки: «Со мной ляжешь... ты вот здесь здесь со мной... ты очень красивая а мы поедем ко мне поедем там в Ачинске тебе хорошо... подружкой... я не хочу здесь я сюда за ним ну и что ж если любила... а теперь – теперь...»

Любава уже сбросила, оказывается, дошку, оторвавшись от закаменевшей девушки, одной рукой сорвала одеяло с постели, другой же расстегивала на себе платье, спустив его с плечей и опустив, перетоптала нетерпеливо платье на полу и осталась в длинной рубаше, а потом стала теревить завязки на юбке Арапас, и девушка подчинялась, стараясь помочь и быстрее освободиться от непонятного порыва, но вслушиваясь в горячечный шопот: «все лето среди мужиков... согрешься ты вон какая... не дрожи мне самой страшно... грех а ты понравилась если вернется Кирилл... зачем я... не было у нас а ребенок... да ты не слушай дурь мою ложись спокойно Иван не даст... как можно здесь я скажу...» Она почти втокнула Арапас в постель, непривычно мягкую, задула огонь и уже в темноте снова что-то шептала и плакала, пока девушка, вытянув все так же руки вдоль тела, молча лежала и видела языки костра и неподвижное лицо отца, сидящего на своём лежаке из шкур и глядящего ей вслед. Так они и заснули вместе, женщина прижималась к Арапас, и девушка уже во сне жалела ее – красивая, белая...

Вовсе ведь небольшое оконце, а сине-зеленый свет будто растворяет всю стену: холодно-светло в комнате от лунного пульсирующего сияния... Ворочается Иван Кузьмич, мозг его вроде бы и уплывает, но не в сон, как прямо-таки вымаливает тело, а в полусознаваемую дремоту: почти бредовую околесицу с разноцветными кругами, с отрывочными несвязицами видений и мыслей, с неожиданным уханьем куда-то вниз, в темень, в собственное опустошенное сердцебиение; и тем это до откровенности мучительней, что в осмысленности происходило, а избавиться, может даже встать и встряхнуться, сил не доставало. И он ворочается на двух составленных вместе приземисто-широких скамьях, отчего-то вдруг жестких и неудобных и жарких от подстеленного тулупа, и сжимает он бесполезно веки, и ловит кружение в голове, все надеясь уплыть с ним наконец-то в сон.

Полнолуние. Нехорошие предчувствия берedit оно. К чему бы?..

Тугой зеленоватый шар луны завис прямо в оконце, выходящем на юг, и не движется тот шар будто вовсе. В тишине, словно заледенённой этим светом, слышится порой кряхтенье старых бревен, из которых сложена фактория: вдруг колыхнет тишину короткий собачий взлай, гаснущий в вое-зевке; вот кто-то запустил было свистящую руладу храпа, но тут же и замолк, как захлебнулся. «Игнат стервец, – отмечает завистливая мысль Ивана Кузьмича, другая же: – Да повернись вот нет на другую... вдвоем они... считай уснешь сей... он подохнет а с собой... не дума-ат... вот отец... чей отец-то?.. причем... гос-споди-и». А мозг по-прежнему напряжен и недоверчив к этой зеленовато-бледной пульсирующей тишине, но и собраться не может. «Завесить бы...» – проплывает устойчивая мысль по свинцовому телу, а где-то еще поглубже той мысли – знание: ничего не поможет. Полнолуние.

Дневная же память перебирает свое, скользит и не дает голове успокоиться, сном укрывается.

... Ненужный, беспокойный разговор был с попом, не ко времени, разве потянул бы его, когда зимовать решилось? И еще с Любовью вот... ох ты, Любава. Он все выходил, чтобы перехватить Гарпанчу, ведь должен уже вернуться парень... что-то рассказывал ему Сэдук,

этот – как кричали тунгусишки?.. ах, дурной народишко – «ненормальный с украденной душой тойон», мальчишку-то принял сыном и воспитал, девку свою за Григория хотел старый. Чему еще мог учить... охоте, может, на свой путь ставил парня?.. кого ж еще. А-а, и Большой Иван, мол, не чужой для Гилгэ, так, – пробовал усмехнуться Бровин сложившейся наконец мысли.

И открыл глаза, потому что еще раньше, чем увидел, ноздрями втянул знакомый запах лаванды. Сноха уже сидела рядом, закрыв ладонями лицо, волосы ее беспорядочно сползли по спине и плечу и от ночного света казались медными на голубоватом полотне сорочки. «Все снохой называю Любаву-то», – скривился на себя некстати Иван Кузьмич, приподнялся на локте и засвистел ей в ухо, взглядывая в мерцающую прорубь окошка:

– Не время теперь, слышишь...

– Торчать здесь не время... не могу больше... я, я... я-а, – женщина ткнулась ему в плечо, роняя его назад на сбитую подушку. – Мы не можем... ты не можешь... еще и зиму, я дура, дура, понесла я, понимаешь...

«Господи... го-оссподи-и» – только и зудело в голове, пока нашептывалась бессмыслица в земляничный запах волос: «постой... постой же», пока неловко поднимался, укладывая на свое место женщину, стараясь утишить ее горячечный шепот широкой своей ладонью, уже влажной от нежданной и обильной влаги на щеках Любавы.

«Ах ты боже ж мой» – пришептывал, а сердце, всегда слабое перед женской слезой, ущемлялось беспомощной болью, опять, как и в тот раз, сливавшейся с неумолимой волной желания, греховного и постыдного, от которого был он вовсе незащищен своей повязанностью с Сэдюком, своей многолетней погоней за стариковой тайной. Забыл вовсе, что едва за пятьдесят ему и не бесполой это возраст, при котором ни к чему бы потакать невинному – так, так казалось, легко уговорилось! – но и приятному капризу снохи, пожелавшей весной поехать с ним к тунгусам, польстило даже: «не буду, мол, обузой, лучше вас обихожу, чем здесь от писаршек отмахиваться».

«Домаха-ались», – думал: такой же вот ночью... два уж месяца как?.. услышал и понял, что не во сне слышит всхлипы. Чего бы это, спрашивал себя, еще не стряхнув сна, а к сердцу уже подкатывала жаль. Он таил выдох, а всхлипы из каморки снохи не прекращались, и он отодвинул занавесь: – «Ты ли? Случилось что? – он и теперь слышит свой свистящий шепот, помнит лиловеющий мрак и дохнувшее на него душистое тепло. – Ты что это... не спишь, Любовь? Может, попьешь?..» Плач перешел в задавленное подушкой поскуливание, резанувшее его, судорогой скрюченное тело под одеялом ощутил, присаживаясь на край: «ну что ты, душа», услышал: – И не любил он меня, Кирилл твой! Кто я теперь... ни девка, ни баба, ни вдова-а, может его и в живых уж нет на войне той, – слово в слово помнил и теперь, даже мысли, ею пробужденные, помнил: – «Окстись, девка, грешно тебе так. Чем он плох с тобой был-то?» – А ничем и хорош ведь не бы-ил разве я квелая какая разве... разве батя с тобой твой-то отец так поступал?.. «Мой-то отец при чем», – он даже опешил от вопроса. – При том, – шептала невнятно в подушку, – что Кирилла своего женил пацаном что я ему... не хотел он и на войну сбежал из Томска чтобы не... а я два года-а. «Ну-у, – он коснулся пальцем плеча, – что отец со мной... знаешь... полно, мол».

... Отца Бровин редко вспоминал, да и поминил... случайность одну. Редко видел. Запомнил: огромный, всегда пахнувший остро, будто и не из бани только, случайными ночевками и потной дорогой пахнувший – был бесом обуян. То и запомнилось: «Велика земля, инда интересна! Увидеть хочу, там быть, где никто не может из людишек!» Запомнилось, запало. Еще приезд один, когда, колко на Ваню глянув, взял за руку в ответ на материнское «чему научится-то путём?» и отвел в реальное училище. «Доучи мальчика. Этого хватит? По-честному? – положил камушек со свой желтый ноготь, подумал, оторвал четверть бумажки, свернул ее кульком и туда, как табак, сыпанул хорошую щепоть золотинок. – Хватит, мол. И кормить обедами... Доучи, а то...» Что «то», если исчез скоро, да и пропал навовсе, не было мальчику

понятно – то ли угроза, то ли признание своей неспособности кормить регулярными обедами. «Доучу», – успокоил директор. Не по своей вине не доучил: кто ж виноват, что голосишком обделен, а говорить парню приходилось, вызывая смех однокашников, который кулаком не смажешь – за спиной тянется. Понял Иван, что в одиночку можно молчать, сколько угодно, и вспомнил щепоть, сыпаемую в кулек. Так и ушел, хоть обязанности отцовской не ощущал в себе. «Что ж, отец...»

– Разве я квелия какая Кирилл два года с тобой вот... сюда, – вернула его сноха от памяти ненужной теперь, и зашлась опять слезами. Иван Кузьмич растерянной рукой нашарил волосы, погладил, пахнуло на него вот этим земляничным духом, а Любава повернулась, горячие мокрые губы ее коснулись мужской его грубой ладони, и он отдернул, вспомнив свои черные ногти. Села, опершись на подушку и подтягивая к шее одеяло. Лицо ее чуть светлело, зато глаза казались темными провалами, а сердце Бровина ухнуло: «Спят все... завтра поговорим». – И хорошо что спят батя ба-аатя говорил что любишь девчонке таких соболей принес подруги ушептались да лошадку... «От сына дарил... от Кирки», – подтвердил шепотом, а безоглядный холод чего-то помимо жалости уже вползал в кровь. – Зачем... зачем себе не взял!.. ты вон какой, – хлопанье вдруг перешло в журливый смех, одеяло сползло, а руки закинулись Бровину на шею, с неожиданной силой заставили потерять равновесие и покачнуться заросшей шерстью грудью так, что ощутил колотящееся в его грубые ребра сердце, – не мо-огу больше так... живая же ж я. – «Я тебя ведь и люблю, Любавушка, – он попытался освободиться, опасаясь в неудобстве причинить боль и выравнивая вдруг задохнувшийся свой голос, – чем помочь тебе... не так...» – Так?.. так... так, – судорога прошла по ее телу, выгнувшемуся к нему, родила в нем озноб, давно неведомый, беспамятный, стыдный, преступный, – та-ак... ты ведь вот какой ты не состаришься я тебе... да-авай детей нарожа-ах-ем давай что-ж-ты-себя-забросил...

«Гос-споди, – думает теперь, покоя горячечные упреки женщины под широкой ладонью, – вот и...» – Постой же, постой, – причитает, уже озлясь, но и жалостью обмякая: «знал ведь, не брать бабу», – пойдя до утра... утром... иди – подумаю...

И лежит потом, глядя на равнодушный провал оконца, ожидая того немногого, что осталось до утра: «ох ты-и дела вот как значит а что же я с Сэдюком... нет теперь как будет...»

И еще один человек в фактории не спит в эту лунную ночь. Но Иван Кузьмич не знает, что к ночи вышел отец Варсонофий и вернулся по их влажному следу к поваленному шалашу, а потом долго сидел с Сэдюком, допивая оставленную купцом водку.

– Итика нету, – качал головой старик, больше для себя говоря это. – Плохо без него... найдет, может?

– Худо тебе будет, – вздохнул хрипло попик.

Старик лишь глянул на него с усмешкой, которую русский принял за упрек себе.

– Иван ведь тоже не хотел, – ответил Сэдюк, – И ему худо.

Гость посмотрел на него удивленно: «Да?»

Глава третья

1

Утром старого Сэдюка уже не было в стойбище, отринувшем своего тойона и, в надежде на убажнение этим Большого Ивана, беспечно ожидающем во сне новый день, который продлит жизнь, даст и пищу.

Только одна сгорбленная ловкая фигура прошла на самом рассвете от фактории через стойбище, будя ленивый лай собак. За спиной Еремея висел короткий казачий карабин, к поясу петлей был прихвачен топор; старший приказчик, нисколько не скрываясь, прошел берегом вверх по реке, а час спустя уже остановился на притоптанном плесике и спокойно присел на корточки, раскуривая сладкий мягкий табак в короткой трубке. «На ту сторону пошел... ладно», – подумал без суеты. Неторопливый легкий снег грозил занести следы, но Еремей так и попыхивал дымом, вглядываясь в ровное серое пространство, уходящее к порозовевшему горизонту. Там к небу потянулась тоненькая ниточка: «Версты три... куда ему торопиться... костерок завел...» – он перенес к стволу корявой сосны заплечный мешок и устроился еще удобнее, опершись спиной на теплый ствол.

Иван Кузьмич знал, кто ушел из стойбища, но никак не мог ожидать того, кто в это утро появится...

Поначалу вернулся от тунгусов отец Варсонофий.

– Ты мне не мешай! – сходу встретил его Бровин.

Сидит купец все за тем же столом, беспорядочно заставленным вчерашней и свежей закуской, грязная посуда горкой сдвинута к краю. «Не рано ли с утра?» – кивает священник. Водочная четверть заметно тронута, и хозяин с хрустом заедает капустой только опрокинутый стакан. Лицо его немного побурело, и брови сошлись, но глаза трезвы и подернуты краснотой от бессоницы.

– Сапоги бы обтер чем... да садись уж, – он наливает, плеснув на столешницу, подвигает стакан священнику. – выпей. И не говори мне ничего... нынче. Да и чем ты недовольтвовать можешь? На что пенять мне?.. А хочешь, хочешь – вижу!..

Он оглядывается через плечо, куда смотрит Варсонофий. Девушка в углу сидит неподвижно, выпрямив спину и бездельно сжав коленями ладони. «Здесь жить станет Катерина», – роняет Иван Кузьмич.

– Остаемся мы, Варсонофий... дела у меня, – голос его поднимается до писка. – Зимовать ли будем...

Слышен вздох за занавесью: «О-ох!» «Зимовать», – повторяет купец и смотрит на тонколицего попика, который привычными пальцами расчесывает гущу волос, а взгляд его отчего-то тревожен Бровину, хоть и неподвижен и будто в себя обращен.

– Выпей же, – настаивает Иван Кузьмич.

– Говорил я с Сэдюком, Иван, – утерши губы тыльной стороной ладони и продышав горячую волну, тихонько рокочет попик.

– Ты закусывай пока... вечно ничего не жрешь! Пастве своей какой пример кажишь, – пытается его отвлечь Бровин.

– Оставь уж, – отмахивается тот, а по скулам растекается румянец. – Не пустили его к покойнику... «Не видели будто... и смотрели мимо, – думал про себя. – Таково... что скажешь – их закон, а после знак: пошел кто-то мимо старого, не глядя, и на тень наступил... так и двинулись остальные от чума – этой тропой, по тени Сэдюка, самого не видя... Уходить буду,

говорил Сэдук, не может среди своих с растоптанной тенью человек... больного, мол, гуся всей стаей бьют». – Да... по тени! По твоей, Иван, тени не ходили, не топтались еще?.. сам потопчешься... рассказал мне Сэдук про ручей.

– Вот видишь, так и победил нехристя, отче! – опять шутил Бровин. – Что ты бы делал без меня?.. а, Санофей, если честно? Теперь они все к твоему богу прислонятся.

– Хитрый ты, Иван Кузьмич, а все – дурак, хоть ума не занимать стать. Смотри... как бы из kota самому мышью не обернуться... не победа то, купец... сам поймешь когда. Денег тебе мало? Чужие...

– Ладно предсказа-атель, – почти пропел Бровин. – Мало... кто тебя кормить будет... сглотнул?.. далеконок больно заехал мне... ма-арали начитывать: я тоже не из яичка, кажись, вылупленный – знаю, что делаю... при мне грехи мои, не ты ответчик! Деньги... с моими деньгами разве что у полового в трактире почтенье найдешь... а мне вон, – он неопределенно махнул ручищей. – А-а, что можешь ты, поп, в фарте знать!.. жизнь, считай, потратил. Не Сэдуку бы меня останавливать.

– Прав он, – раздумчиво, как для себя, говорит отец Варсонофий. «Ну, здесь не амвон тебе... пошел теперь», – бурчит купец, не прерывая впрочем. – Для рода своего прав и мудр, только не спасет уже... не один род по земле уходил от спасителей, дальше брюха не заглядывая!.. Забывается: не человек лишь ответчик перед всеми, но и все – за него... а легче ложь пустить, лица не разглядывая: ничто, мол, един пред всеми, и не дай Бог – не умнее уж. Так и в государстве: от рода знак один остается – «родина», за нее и голову... и несчетно голов положить, а она? Все тем знаком укроется, вот война-то мелет, думал? Брат на брата и каждый прав, мол, коли родина перед ним безответна... знаком тем свое брюхо прикрыть, другому посулить, а Сэдука – в проклятые... и долго еще! Пока в обрат не научимся: и человецех... и кирпич единый в стене дворца разглядеть да услышать – не стенает ли... а нет – сколь ни мажь словесами, порушится дворец, ах, и расчудесный по картинке-то. Небось и ты совесть-то «интересом общим» подмазываешь?.. как же – всех человечеств любители-жалетели... под себя, а брата рядом – сомнешь и без сна не останешься...

– Ладно... говорить вот, сицилист ты прямо... тебе бы с моим Лужиным посидеть: он бомбы подкладывал да деньги в банках брал «для всего народа»... а потом раздаст их, деньги-то? – шиш! – по заграницам с тросточкой... – Иван Кузьмич засмеялся. – А я бы прииск закатал здесь, кому худо? Земля вон в забросе, а людей кормить должна? Это ты – перекасти поле, а мы живем здесь. Шляешься ты чего по земле?

Замолчали. «Везет мне на бродяг, – хотел было сказать Бровин, а потом: – И сам ведь кто? Еремей знал, на что отправляю... Сэдук или он, а надо бы и Игнашку с ним. Хотя и прав он... на двоих соблазна больше, а казак вернется, знаю... ежели жив будет... Ах, Люба-Любава, что ж нам... А распятием... зачем, – у отца Варсонофия даже затылок заломило: – ...может, прав был Петр, отговаривающий... нравственно ли? – ведь смертью своей ко злу в людях обратился, помните, мол, мерзость свою... не к доброму в них... О!.. прост мя...»

– Тем же тунгусишкам, печешься о которых, – снова заговорил Бровин, зачем-то нужен был спор ему. – Не все им спиваться да в темноте пребывать. Ты вот чего так о них печешься-то, а, Варсонофий? Может, без нее они и счастливее, без веры твоей? Не думал? И жили б, как жили...

– Слова... еще и себя за мерзости по головке погладим: для блага, мол, совесть свою ущемляю, страдаю, мол, а иду на то... – попик рассмеялся, гулко закашлявшись, и погрозил пальцем. – И не лови меня, не лови! Удобнее так-то: пусть живут в темноте своей, да не в темноте – в наиве детском, а тебе того и надо... и не тебе только... всему Молоху... инородцы, мол! Теперь малыи сии у тебя на пути стали – благо, видишь, сотворить решил: как же не пожертвовать жизнью... кому она заметна, одна ли, две... где тот счет кончится?.. Церквей

много, государств на земле еще больше... а бог один. И человек перед ним тоже – один встанет... как с собой...

– Постой, постой, преподобный! – Иван Кузьмич перегнулся к проповеднику. – Вот тебе тунгусы шкур мешок набрали. До-обрых! На храм, мол... А ты сам веришь в него... в храм-то?

– И-ишь ты... хитроумный ты, Иван... ты храм, как избу свою видишь, а разобраться... и церковь того же твоего взгляда жаждет: много званных, да мало избранных. Так это кто отбирать будет? Ты? Я?.. А то – пристав, ему виднее? Ан – каждый избранный в храме том, ка-аждый, каждый! Ибо храм – это путь: к совести, к добру. И лишь счастливые да сознающие дарить способны, но не нищие духом, на стадо уповающие... да стадо же в дерьме, прости господи, собственном и топчущееся... уж так ли легко из него душу отторгнуть...

– А не веришь ты в святую свою церковь, Варсонофий... Санофей, как тебя старик звал, не ве-еришь! – пропищал это Бровин почти весело, и откинулся назад, и поднял стакан. – Выпей со мной, не бойся – хорошо с тобой, так что не поплывем мы нынче.

– Не боюсь... и не лови меня, – священник оставил стакан, взглянул на Ивана Кузьмича насмешливо, – службу, поелику возможно, честно, чтоб человека уберечь... о добре напомнить. Не всегда совместишь, правда... рухлядью той, что попрекаешь, не себе занимаюсь... слаб человек – через красоту к благоговению да чистоте в помыслах своих легче вести его, поскольку мысли еще доверять не научился...

– Сожгли бы тебя прежде, а? Еретика? Мне благочинный говорил в таком роде что-то... еще давно, еще как задружились с тобой... беглец ты откуда-то?

– Да?.. все не успокоится... ну, да ладно: сейчас о другом речь у нас, Иван, – отец Варсонофий тряхнул головой, будто отгоняя прочь слабость свою. – О тебе разговор: не дело у тебя с Сэдюком, что обретешь с его...

Дверь распахнулась, не дав ему договорить, на пороге встал Игнат: «Как сказали-с, хозяин...»

– Что, Гарпанча вернулся? – вскинулся Бровин.

– Это так точно, только... привезли его: сын ваш, Кирилл Иванович приехали... радость вам изволите-с!

– Ч-што мелешь-то! Думай, чего шутить...

– Не без понятия, – обиделся приказчик. – Сами увидите счас. Из дому они. С Лужиным-инженером верхами...

– Из какого еще дому...

«Ох!» – выдохнула за спиной Ивана Кузьмича женщина, и вздох тот холодной струей потек по его позвоночнику.

– И оставь ты – не зуди... поп! Без тебя! – взвизгнул вдруг купец. И – мимо приказчика – дверь хлопыстнула.

2

А они уже подходили к дому: два человека, в одном из которых Иван Кузьмич узнал инженера, мельком признал, бегло – по круглым очкам, по короткой студенческой шинелишке с сохранившимся на плече вензелем горного института.

Чуть поотстав, кругло улыбался этот... Тонкуль, ведущий за повод двух мохноногих пузатеньких лошадок, равнодушно поднимающих на дерганье узды тяжелые головы. «Разнуздал бы... ах, недокусок, хреновина какая, – хотел было крикнуть Бровин. – Да что же... ведь и в самом деле...»

– Кирка!.. – хрипло получилось, и Иван Кузьмич суетливо, а потому неуклюже и задышливо спустился с крыльца, чуя непонятную тяжесть в подвздошь. – и впра-авду... Кирилл, ты-и?!

Он облапил сына, не заглянув в глаза, непривычно придавил его к себе, но ощутил сопротивление худого тела под казачьей офицерской бекешей и отстранился.

– Подожди... пос...те, отец, не так бурно! – в голосе Кириллы послышался давний усмешливый тон, но самого голоса старший Бровин не узнал – сиплый, натужливый, прервавшийся мелким осторожным кашлем, темно отхаркнувшимся в сторону. – Потом... веди уж в дом... Мы вот с Лужиным...

– Да... что ж я, на радостях... нежданно... устали, – Иван Кузьмич отступил, протянул ладонь невысокому инженеру, по скошенной улыбке его понял ненужность своего несоразмерного пожатия. – Пристали конечно?..

– Трое суток с вашим охотником тянулись... снег этот некстати – мокреть... А Кириллу Ивановичу... – начал инженер, высвобождая ладонь из лапы купца, но увидел отрицающий поворот головы своего спутника и закончил: – Горячего бы сейчас с дороги, водки и... в постель! Полмесяца добираемся...

– Гарпанча шибко больной ходили, амака-мишка помяли было, – улыбчиво пояснил тунгус. – Вот насальник звери помогли возили... ха-алосый зверя... ц-це!

Но Иван Кузьмич пропустил мимо ушей его слова: лицо сына под серой папахой было худым и нездоровым до зелени, отросшая щетина утопила в себе щеголеватые усы и возраст Кириллы. «Чего-то с ним...» – кольнуло Ивана Кузьмича.

– Игнат... кто там?.. Симка, – он обернулся, ловя себя на нежелании встретить взгляд сына. – Возьми лошадей! Не видишь ли? Да пойдете, в дом пошлите... – и приобнял сына со спутником за плечи, пропуская их вперед. – В дом, в дом...

– Я приду погода. Ты ступай пока... Тонкуль... или вот с лошадьми уж помогай, – сказал еще тунгусу. – Да железо вынь – удила-то у них, чо дергаешь, дура...

– И-и, – готовно дернул парень рукой с поводьями, и лошади, прынув, согласно подхватили головами. – Без-со дусы старый рано уходили, а Ремей след посмотрел!.. Моя помогали будим для твой – а твой нам всегда помогали...

Иван Кузьмич, уже не глядя, отмахнулся: «Ладно, не до абракадабров твоих». И повлек сына с инженером на крыльцо: «Да как же решились-то?.. ну, слава богу, хоть добрались живы...»

Сдерживал, ох и сдерживал себя Иван Кузьмич: в кулаке сердце сжал, будто и хрустело оно теперь в пальцах... что же это получается? Что получается-то?..

Он глядел на прямую спину Кириллы, видел неширокие плечи, почему-то часто пере-дергиваемые, словно сыну за ворот попало что, поднимал глаза к закругленному затылку над коротким, стойкой, воротом бекеша. Сероватые волосы были высоко стрижены и плоско при-терты к голове папахой, которую сын держал теперь в руке. «Стригся ли что ли... не оброс, – зачем-то размышлял Иван Кузьмич, будто это сейчас так важно – когда же побывал у парик-махера сын. – Готовился... торопился». И собственный затылок сдавило: «А это... война ли кончилась?..» – подумал. Или спросил?

– Вчистую демобилизован поручик... Георгием с бантом награжден, – негромко сказал рядом в полутьме закоулка на хозяйскую половину инженер, а дальше тихо вовсе бормотнул: – да, с бантом... но без легких, вот так. Иприт...

Выдохнул воздух Бровин-старший – как нутро вывернул. Впереди светлел дверной проем, в нем стыло лицо Любавы, глаза ее над плечом Кириллы уже затягивались слезами – нет, не радость нежданная их наливала свинцовой тяжестью, отчаянье, отчаянье.

3

Сэдук ушел недалеко.

Всего один переход, дневной короткий пеший переход отделял его сейчас от фактории и становища. Куда ему было торопиться? Он ушел с земли, на которой мог встретить человека, на этом берегу нечего делать охотнику, никому здесь не помешает Сэдюк. Дорога на этом берегу Тембенчи ему одному известна, он знает, куда она приведет. Её знал до него Ухэлог... нет, не успокоится Иван, обязательно на след станет.

Сэдюк дотянул свои легкие нарты, с которыми перебрался на плотике через реку, до валунного всхолмия, заросшего можжевельником и кривым осиновым подростом. Здесь можно было развести костер и связать четыре жердины для шалаша. Здесь от дождется Итика. Сэдюк знал, что собака найдет его, если Гарпанча – пусть боронят охотника предки – благополучно вернется на становище. «Почему ты должен уйти, отец?» – спрашивала его Арапэ.

Что поймет девушка, пусть и дочь, думал Сэдюк, глядя на синеватые языки невысокого огня, который он подкармливал совсем понемногу – только чтоб жил. Что поймет?.. если и мужчины, которые столько лет приходили к нему, слушали и всегда соглашались с его словом, потому что самому ему слово то давалось непросто... да, и мужчины теперь отторгли его. Ну, старые люди ладно – те всегда ревновали его близость к Ухэлогу... они не хотели принимать его, Сэдюка, и тогда, когда умер Ухэлог. Никого не может он и сейчас взять туда, куда уйдет нынче... один Итик пойдет.

Это предрекал Ухэлог, еще травы показывая предрекал, это и случилось: «Ты – волею добрых духов неба, воды и огня, леса... и птицы в нем и зверя, – глядя поверх головы Сэдюка и уже чему-то своему усмехаясь, тихо шептал ему ссохшийся Ухэлог. Он уже забыл о больном русском, о пурге забыл и о занесенных пургой добытчиках, которых погребет потом Сэдюк под камнями, и о третьем, что так и остался в избушке на том ручье, позабыл уже Ухэлог, как не помнил об огне среди тех деревьев, накрытом мокрой пургой огне... но продолжал шептать свое предостережение, перекладывая на Сэдюка свою ношу. – Велением душ предков наших... и твоих... обрекаешься, Сэдюк, на великое страдание... ни человек, ни зверь, ни птица не должны знать тайны... земле одной принадлежит она... и на той земле род твой жить будет, детей рожать будет... пока не уйдет знание твое в чужие руки пришлых людей... не сделает знание тайны той богаче, сильнее... ни счастливее познавшего ее, но дается на сохранение для спокойствия рода твоего... гибель несет ему... помни, Сэдюк... вырви язык свой, лишь захочет он потревожить знание то... в другой мир отправь жену, если подслушает во сне... уничтожь дорогу и по ней идущих, если откроется дорога человеку... проклятие прими и уйди за мной, если сам род твой той дороги потребует... там меня оставишь, Сэдюк... и сам ляжешь... и кому передашь, пусть ляжет...» Вот как шептал ему Ухэлог, прерываясь, отплевывая и хрипя так, что и на слух чуялось, как сопротивляется в нем живое иным силам, уже перехватывающим слабый голос. Так и было, так и было... уходил Ухэлог, и один Сэдюк знал, куда нужно переправить остывающее ссохшееся тело... «там меня оставишь и сам ляжешь»... пришло, видно, время!

Ночь все меньше оставляла времени для света, день вовсе коротким делается. Надвинувшаяся ночь не пугала старого Сэдюка. Звезды загорались все ярче, их появлялось все больше. Сэдюк спокойно смотрел, как сливаются они на зеленеющем темном небе в алмазную реку, как течет та река совсем далеко, обращаясь вокруг сияющего кола в самой середине – Полярной звезды. Скоро и его душа поплывет той рекой, он знает это, хотя никому не дано ни поторопить, ни задержать время Большой кочевки.

Куда ему торопиться? Угли костра чуть тлели у самого входа шалаша. Полость у входа была откинута, верхушка связанных шестов сходилась почти над головой сидящего на корточках Сэдюка, спину же прикрывал от потяга ветра шалаш. Красновато моргающие угли не мешали видеть искрящееся текучее небо, зеленовато-медный серпик новорожденного месяца.

Да, долго ждал, однако, Большой Иван... Сэдюк пошевелил меркнувшие угли, устало закрывающие глаза пепельными веками. Огню тоже отдохнуть надо, пусть. Старик поднялся,

высокий, худой, хотя пригнанная одежда и скрашивала сухость тела, сильного еще, жилистого. Он повел плечами и обернулся туда, в ту сторону, откуда пришел и откуда ждал Итика. Там, на полпути, пройденном Сэдюком, угадывал старик блики огня: «костер, однако...» Нет, не успокоится Иван, вот поставил кого-то на его след... кого?

Ладно... Сэдук осторожно, встав на колени, влез в шалаш, развернул меховой мешок. Ночевать надо. Вынул трубку, нащупал пузырь, в котором хранил табак. Вот табаку надолго хватит, еще Иван пачку добавил... всего надолго хватит, даже порох дал купец – не нужна смерть Сэдука Ивану, ох не нужна – надеется, что испугает его одиночество. Не мог понять, что Сэдюку судьба такая, всегда одному быть, человек только тогда за других болеть может, если один быть научился... за себя отвечать научился.

Старик снял парку, потом набил трубку табаком. Пососал холодную трубку, подумал – стащил с ног мягкие ичиги, оставшись в меховых носках. Потом выбрался из укрытия и поворошил кострище. Угли еще сохраняли огонь, хотя уже надо было оживить дыханием засыпающий жар, чтобы прикурить. Пыхнув несколько раз дымом, старик прислушался. Тишина была спокойная, а молоденький месяц готовился юркнуть за сопку. «Лучше бы Итик не приходил, – спокойно пожелал старик. – Куда пойдет со мной?» Табак примирял с жизнью, и Сэдук пожалел отца Санофея, который не курил табак... потому, видно, и беспокойя в нем много, в попе-батьке. Потому и не понял Санофей, отчего Большого Ивана жалко Сэдюку... или понял? Он умный, хоть и учит, что его бог может изменить что-нибудь. Зачем он менять будет?... он ведь уже сделал землю, так... жизнь дал, смерть дал, так? Что еще помогать надо... пусть человек сам думает, он боится жить, хочет опять подмоги... У ребенка мать есть, отец есть – кормят, ходить учат, зверя добывать учат... ну-ка, не отпустят зверя самому брать, все свои куски давать будут, что станет, Санофей?... помрут мать-отец, куда денется большой ребенок, за ними уйдет?

Месяц нырнул за сопку, а звездная река быстрее потекла своим мерцающим путем. Студеный свет придавил ночь к самой земле, и старик зябко повел плечами – спать надо. Он залез в мешок по плечи, не выпуская трубки, полог шалаша опустился за ним, и Сэдук нащупал рукой пальму. Они не хотели слушать его, Сэдука... он прикрыл глаза, вспоминая, что люди не хотели его принимать и тогда, два десятка лет назад, когда умер Ухэлог... тогда их учил толстый Калэ, который был «дружком» – сам ходил к Оверкину-купцу, сам притаскивал товары... дорого драл Калэ, дядя Тонкуля, со своих родичей, куда как дороже Большого Ивана. Толстый был Калэ, а должникам своим любил детей делать... сгорел потом Калэ от водки и огорчения, потому что пришел Большой Иван Бровин с товарами прямо на берег Тембенчи, фабрику построил – совсем дешево всем давал... только еще боялись Калэ люди: к бабам своим еще пускали детей делать, и от Сэдука отказались, хотя знали, что Ухэлог научил его травы ведать, лечить научил и с духами разговаривать научил. А не приняли, хоть ничего не брал за лечение и помощь Сэдук... какая помощь, если за плату?... не будет пользы и травы тогда не отдадут... Ушел он, на два года в лес ушел, чтобы никто не видел и он никого... так надо – Ухэлог сказал – «хочешь заставить слушать – научись молчать», а как вылечишь, если слышать тебя не сумеют?... два года в лесу – у ворона кричать учился, у медведя рычать учился, луне песню петь у волка учился, мяса-рыбы не ел – слушать траву учился... плохо узнали люди Сэдука, когда вернулся, чужой стал... «своему не верят – похожий что умеет?... чужому верят, другим стать надо» – тоже Ухэлог учил, когда не помер... Когда сейчас передаст Сэдук эти слова, кому? Некому – кто поймет?... Гарпанча чужой, иргинэ, Арапас-Катя – девушка, ей много изменяться надо, пусть родит лучше...

Нет, не хотели его слышать, все забыли... Иван долго добрым был, поверили – большая душа, подменилась душа Сэдука, пусть уйдет... Они молчали, а взгляды их обтекали Сэдука – его уже не было... так не было, что кто-то, поколебавшись, прошел рядом и наступил на его слабую тень... и все остальные люди двинулись от чума этой тропой по тени Сэдука, не видя

его самого... не может жить среди людей человек с растоптанной тенью. Из чума, где одетого во все новое для далекого пути Дюрунэ уже завернули в шкуру, слышался басовитый речитатив отца Варсонофия, читающего свои непонятные молитвы тому, за всех, говорит, страдающему богу или сыну бога... так и не смог понять Сэдюк, кто же Исса, да и не в том дело – их предки тоже ведь хранят-боронят живых.

Сэдюк не поверил тому Иссе... да, не поверил... Они говорили много с Васано-феем – старик улыбнулся и опять полностью выговорил имя громкозвучного попа: «Варсонофей... Санофей... и в последний раз говорили; зачем приходил Санофей?... нет, Сэдюк не Исса, тот взял на себя грехи людей... можно это? Не-ет, не надо брать... за свой поступок человек должен уметь сам ответить: голодного кусок мяса не спасет, его научить охотиться надо... а Исса на крест сам пошел – он что, хотел доказать людям, что подлость в них сильна, что зависть их червяками точит?... Не верил Сэдюк, что любил человека тот Исса распятый – нельзя из любви зло будить... нельзя в страх своей смерти окунуть да еще причастным сделать, а потом добра ждать... усохнет добро в человеке, как рукавичка мокрая возле сильного огня – никуда не стодится...

Замахал тогда на него отец Санофей, позлился, а не понял, почему худо Ивану, почему не винит купца Сэдюк... Сам Санофей хитрый: от него еще пахло горелым жиром, дымом которого, как заведено, окуривали тело Дюрунэ. И вещи, нужные старому Дюрунэ в дороге к миру мертвых, наверняка приготовлены... нож затупленный, ружье сломанное, посуду дырявую – чтобы здесь живой не позарился, а там Дюрунэ сам починит... не мешал обряжать мертвого поп-отче – знает, что легко добавят люди лишнего бога к прежним... даже старшим нетрудно признать Иссе – они там, в верхнем мире сами разберутся, кто старший... вот как люди, им как определиться?..

Уже засыпая, вспомнил старик другой вопрос Санофея-попа: „Чего ж ты тогда, Сэдюк, тайну уносишь?... сами бы люди и распорядились, а ты их спасти хочешь... видишь!..“

Нехорошая, мутная мысль эта так и осталась в нем, а потом заставила под утро почувствовать землю, на которой лежал мешок, и сердце, в котором иглой шевельнулась тоска. И, ровно услышав ту боль, влез в шалаш Итик. Сэдюк понял, что еще прежде он слышал, как пес обежал шалаш, как унюхивал у входа запах хозяина, как осторожно шорохнулся полог. И теперь Итик торкнулся в бок старика, лежащего на спине, привалился рядом и больше не шевелился. Только учащенное дыхание показывало, что в поночевке есть еще одно живое существо.

Пришел, подтвердил себе старик. Боку тепло, но Сэдюк стал гнать от себя сон: „Ворожить надо... смотреть в глаза Итику надо... свечу достанем, смотреть будем“. Он выпростал руку из мешка и нашел ладонью голову собаки – спокойно, мол. Шерсть была влажная, старик повел рукой по телу Итика, сбивая мокреть и наледь на брюхе. У лопатки рука ощутила дрожь, а Итик вздернул голову. А-а, сукровь... Сэдюк вылез из мешка, обтер руку о штаны.

Он нашарил крышку короба, в котором сложен важный припас, и достал свечу, потом другую. Чиркнул спичкой. Итик смотрел на него, все так же лежа на боку у спальника. Старик наклонился к нему со свечой: понял – амикана взяли с Гарпанчой, это хорошо... потерпи еще маленько.

Зажег вторую свечу от первой, установил одну у входа, другую, усевшись на подогнутые ноги прямо на спальник лицом к собаке, приспособил обок себя. Итик сел, глянул на трепыхавшийся огонек у полога входного, потом перевел взгляд на хозяина. Красноватый язык свечи, что слева от сидящего Сэдюка, недвижимым стоял в темных зрачках собаки. Старик чуть покачивался, прикрыв веками свои глаза, лицо его закаменело. Вот он обеими руками взял голову Итика, глаза его узко открылись: взгляд встретился с собачьим. В глазах Итика нельзя было увидеть страха, одно терпение да еще старание понять. „От Гарпанчи пошел... меня искал, – почти беззвучно шептал Сэдюк. – След нюхал берегом бежал... кончился... другой след... сидел... покажи гляди обратно думай...“ Еще шептал Сэдюк, и пес не отводил глаз, пока не

поднялась губа над клыком и не заворочался в груди Итика рык. Устало отпустил старый голову собаки, упали на колени руки, закрылись глаза и обмякло лицо. Итик молча сунул морду в хозяйскую ногу, лег, подобрал под себя лапы.

Немного спустя Сэдук встал, сторбившись, достал трубку, выбил из нее пепел на ладонь. Потом, зажав чубук в зубах, пошарил в коробе, вытащил небольшой туес, обернутый тряпичей, Смешал жир с пеплом прямо на ладони, нашел еще в коробе какую-то труху травяную и грузно положил пятерню на короткую шею Итика, заставляя его лечь набок. „Ремя на след поставил!..“ Сэдук смазал своей смесью терпеливый бок пса и погасил свечи.

4

Еремей проснулся, как от толчка. Над головой где-то в ветвях пролаял филин, но не от его крика толкнуло Еремея под сердце. По-прежнему медленно горели два толстых бревна, положенные по-таежному встык на кострище. Несколько раз за ночь их нужно было придвинуть друг к другу. Еремей делал это, не выходя из сна, как не будило его и постреливание углей. Под густыми лапами могучей ели затаивалось тепло долгого костра, на многолетней подушке слежавшейся хвои было сухо и мягко. Прозелень ночного неба, очистившегося к вечеру от грузных облаков, сулила утренний мороз, но и не это беспокоило Еремея, что ему мороз...

Нехорошее предчувствие почему-то ворохнулось в груди, Еремей отнес его все же к филину: „Гавкает лешак над ухом...“ И перекрестился на всякий случай. И подумал еще, что все же надо было стрельнуть собаку. Он знал, что собака та Сэдука. И бежала она к Сэдуку. Только по следам-то его, Еремея, по этому берегу, хотя знала, конечно, что старик давно переправился на другой, что ей надо на другой. Зачем же она бежала по его-то, по еремеевым следам?.. а ты зачем идешь по стариковым?.. ну, я не собака, знаю!

Пес этот тоже знал: как он глянул, ровно Еремей хозяина в кармане прячет или нарочно след его затоптал. Глянул пес, присел, рука Еремея в раздумьи потянулась за винтовкой... пес встретился глазами с человеческими... „пусть идет пока, наследит больше“, а пес уже спускается с крутого глинистого берега к реке, скользит на размякшей под первым случайным снегом почве и без остановки бросается в черную воду, в которой уже рябит первая звезда, еще не видная на небе... и это почему-то кажется Еремею колдунской наважиной больше, чем разумность в глазах лайки. Собаку сносит течением ниже, рука человека все еще ощущает тяжесть винтовки, а сам Еремей все переводит взгляд с темной движущейся воды на небо и облегченно вздыхает, лишь когда отыскивает-таки там, в быстро густеющей серости мигающую точку.

Собака уже выбралась на другом берегу, он видит ее спустя время бегущей в сторону, где, он знает, развел очаг Сэдук.

Еремей отчего-то именно сейчас, проснувшись неурочно, понял, что старик знает о преследователе... а чего ты хотел? как не знает, здесь и знать нечего – так бы и отстал купец... „про-окля-атье!“ и все... ходи себе ходя, живи с миром и утаивай золотишко... ан, не крути паря, старый о тебе знает... вот чего сердце вещует, на тебя коловоротить начнет...

А с чего это Иван Кузьмич решил, что старый колдун к ручью пойдет?.. „Ты не думай: поводит-поводит, да и приведет, чует мое сердце... туда пойдет Сэдук“, – так сказал купец. Они оба с ним знали, что, почитай, за смертью шел Еремей... за чьей только?.. не такой уж Сэдук старый, чтобы от дряхлости помереть.

Еремей встряхнулся и подумал, что не будет пока перебираться на другой берег: днем еще далеко можно увидеть дым, а старик пока и не думает прятаться. Здесь лес коренной, а там в болоте след нехитро утерять... старик и сам по-над рекой идет, надо нагнать его... все равно ведает... и сна больше не придет, тягость одна. Еремей набил трубку и неторопливо попыхивал у огня, наблюдая, как светлеет чуть заметно полоска на востоке, и дожидаясь медленного рассвета. „Чай ли пока сварить?..“

Он возьмет свое, хоть всю зиму за стариком ходить придется. Может, то золото освободит, наконец, его... Еремей обхватил левой рукой правое запястье, привычно в одну-другую сторону покрутил кулаком, потом то же проделал с левой рукой... Бровин знает о следах кандалов... оттого и ноги стынут скорее, и Еремей даже в избе не снимает коротких чулок, сшитых из волчьей шкуры. Почти пять лет провел Еремей на Сахалине, прикрепленным к тачке, пока смог, наконец, сбежать... а теперь вот к купцу прикреплен, да не это в тягость: сохлась душа от предрешенности судьбы-злодейки... сколь ни пытался Еремей, а не мог вырваться из круга, кем-то очерченного самым рождением... все выходило навыворот. Даже месть... и всегда кровью кончалось... он злился на мать, потому что она знала одно мужское имя – Вася, и Еремку смала тоже так называла – отцовским именем... и как все произошло Еремей никогда не узнал даже и у отца в тот последний день, когда раскроил ему, спящему спяна, череп топором... От матери же узнать никогда не было возможности: она жила в подворье отца станичной дурочкой, а прибилась к станице в киргизских степях неизвестно откуда за год до Еремеева рождения... отец по бобыльему делу „опробовал“ блаженную бродяжку, а станичный круг отказал отцу в разрешении уехать из станицы, когда узналось, что красивая дурочка понесла... как и отказал круг вместе с попом признать новорожденного казаком, а потом отказал и в учебе в церковно-приходской трехлетке... подпаском, потом пастухом порешил круг быть Еремке... ну, в признании за незаконорожденным права на сословии отказали – это понятно: чтобы земли не выделять... а вот, что отцу так и не дали свободы уйти, то долголетняя насмешка да потеха была... это Еремей потом понял, когда в каторгу пошел... а страшнее всего было, когда на суде зачитали отцовское завещание, давно им составленное: все подворье, скот, кони и какие были деньги оставлял он на содержание матери-блаженной, а его называл сыном... и суд, как в издевку, признал завещание... а мать и его, запачканного отцовской кровью – Васей кликнула...

Даже вороватый Игнат и тот может уйти и зажить, добро ли худо, а сам по себе... потому и отказался от него Еремей, когда Иван Кузьмич по Сэдюку отправлял: „Пусть с тобой идет!“ „Нужен он“, – ответил Еремей. „Мне чтоб верняк... кто-то и вернется“, – в открытую сказал купец. „Я вернусь, Иван... знаешь!“ – отвернулся Еремей. И тунгусов он не любил... и всяких иных инородцев, потому что свободны были, но еще больше – за то, как легко отдавали свободу свою за водку... за наивность до дурости, цены свободе не ведая, нехристи... все равно нехристи, хоть крещеные, у русского ж испокон одна свобода – на разбойной тропе...

Но старый Сэдюк им не чета, а вот скрещиваются их дороги... „В долю“ ...ишь, как поворачивается... только всегда Еремеева доля кровью ороситься должна... своей-то хватит, рассчитаться?... Еремей резко встал. Солнце багровым краем показалось и оживило тайгу. Среди деревьев запричитал дятел, жалобно запричитал, а потом задолбил так, что перестук по лесу понесся. Где-то недалеко ухнуло, видно, набухшая снеговина пала с дерева. Еремей плеснул остатки чая в огонь.

– А крутит меня старый... – вслух сказал Еремей. – Говорили, умеет... да не отстану ведь! Уж таким ли чертом крученный...

Издалека донесся трубный призыв сохатого. „Гуляет... снег-то случайный пал“.

... – В баню, в баню с дороги! – почти визжал Иван Кузьмич, он был рад суматохе, которую внес его клик. – Я уже наказал! Все потом – слезы, радости-новости... всего зараз не переваришь! Вот уж негаданная радость, что молоньей по лбу... Да жив, жив Кирилл наш... остальное – после!.. теперь разоблачайтесь, согреемся водочкой с дороги да на полоч... А девки-бабы к тому... на стол...

Он заполнил, казалось, своим звоном всю фабрику, огромная его фигура была везде, кого-то распихивала, куда-то оттесняла, никому не давала покоя... У Кирилла закружилась голова, и он обрадовался, когда осознал себя и инженера сидящими в маленькой комнатке

на лавке под окном, когда в руках у себя и Лужина увидел по стакану, через край которого переливалось, а на подоконнике оказались миска с грибами, с капустой, ломти хлеба.

– Ну тебя и много, отец! – только и мог выдохнуть гость.

– Пей! Там с перцем... с Богом во здравие... Э-эй, Отец превосходный, потчуй гостей! – все ликовал Иван Кузьмич.

„Тунгуса-то живого привезли?“ – наклонился он к инженеру.

– Руку ему медведь покалечил... замерз бы скоро – без сознания был уже, да повезло – на собаку наехали, то ли она нас учуяла... Попробовали что-нибудь сделать, разбередили только: рваться стал, а в память не пришел... Привязали просто руку к телу... довели, – быстро рассказывал инженер, а Кирилл прикрыл веки, лоб его покрылся испариной.

– Вы давайте здесь... помощи Варсонофий... к бане... Я пойду посмотрю, – и Бровин вышел.

Он зашел к Любе. Женщина сидела, бессильно уронив сплетенные пальцами кисти рук меж коленей. Со стола неумело убирала Арапас. „Эй, кто там! – крикнул за спину в кухню купец. – Федюшку что ли кликните, чтоб помог здесь... живо! Или кто там!..“

– Ты раньше-то времени отходную не пой, Любава... не раскисай, сладим как-никак... Я скоро, – сказал негромко Бровин.

Иван Кузьмич чувствовал, как вместо радости, должной быть в нем от появления и самого сознания, что Кирилл живым пришел, вливается в душу его холодноватый поток тупого раздражения, тем именно, что – врасплох, что думал, предполагал, но так до конца и не мог представить – как же им всем быть... Но сейчас он шел в стойбище, к Гарпанче. „Пробова-али, грамотеи!.. вы поможете, – думал он о рассказе Лужина. – Как сами не пропали... У, нечистый тебя путает... сын ведь!“ – последнее относилось к нему самому, а закончил он вслух и вовсе в сердцах:

– Жеребец требанный!.. Не отмолишься, хоть благочинного на плечах вози, яз-звизмать!.. – и неожиданно сам тоненько засмеялся, представив, как взгромоздил бы толстого чина себе на загривок. „Смейся, придется еще...“

Все не ко времени... и разом, охти тебе!.. ничего назад не повернешь, как устроилось... сказать Кирке, а он... что там тот Лужин каркнул?.. „без легких“, это ранен ли?.. Ла-адно, сейчас Гарпанча. Чему-то еще учил старик приемыша, кроме охоты? Парень вырос самостоятельный, может – к своему пути готовил Сэдюк?.. кого еще, нет ближе... и тайну того... да – Ухэлога – не передал ли? А и я, мол, Большой Иван тоже не чужой мальчишке...

Бровин усмехнулся, смотря на сереющие в редкой мороси чумы, на несколько больших костров возле них, дым от которых нехотя поднимался к низкому небу.

Да мясо готовят... сказали ведь: медведя завалил Гришка... молодец парень, пра-аво хорошего зятка поднял себе старик Сэдюк вот и обженит он их не чужие здесь ему... все они не чужие. За столькие годы-то...

У костров не было ни игр, ни плясок, приличествующих такому событию – медведя взять всегда важно, да надо еще, чтобы не озлился дух амаки на людей этого стойбища...

Проводы Дюрунэ и проклятие Сэдюку, которого уже не было здесь, темной тучей накрыли необходимое торжество при поедании амикана-дедушки. Теперь медведь пошел на поминки.

Раньше, когда отец Варсонофий вернулся и тот беспокойный, никчemuшный разговор с ним завязался, тунгусы отнесли тело Дюрунэ на бугор над извивом Тембенчи, там и закопали. Это чтобы далеко ему была видна земля рода, вся окрест видна сверху, когда встанет. Там и крест поставили – как крещеному положено; а в могилу – чтобы спокойна душа осталась и легок путь к предкам – сломанное ружье Дюрунэ положили, нож его затупленный да стегно медвежье для пропитания кстати пришлось, вот еще, видно, несколько чубуков с недокуренной пачкой табаку тоже ему в дороге потребуется... И никто не возьмет, пусть мох придется курить.

А посуду продырявленную, новую одежду надорванную, торбаса расшитые и тоже порченные – их там на холме свежем и оставили, на кресте кое-что повесили, пригодится, если встанет. Иван Кузьмич знает, что так испокон здесь отправляли, он не держит насмешки даже в душе: каждый своим путем на тот свет идет, может, и в самом деле у них там, у тунгусов, своя жизнь, отдельная от христиан русских. Здесь-то рознятся! Вот только колдуны их да шаманы разные своим путем уходят помирать, и хоронят их... сжигают?

Молча сидели люди у костров. Ждали крика ворона.

Бровин присел подле стариков, тоже стал ждать. Поискал взглядом для всякого случая: Гарпанчи и не должно быть сейчас.

– Ки-и-к! Ку-у-к! – раздался, наконец, крик, зовущий всех к пиру, ставшему поминками.

„Гарпанча хороший охотник“, – говорит Бровин. „Да, Григорий большой охотник, важного амака одолел“, – соглашаются с ним.

– Ему документ привезу. Гарпанча тойоном станет. Пусть о народе заботится. Ничего, молодой: я помогу. И ясак заплачим.

Соглашаются с Большим Иваном: „Ничего, что молодой... Пусть!“

– Оленя дарю людям. И араки... три четверти. Пусть удачной будет охота. – Иван Кузьмич поймал взгляд Тонкуля: „Что, паря? – шалашом поднял высоко одну бровь, подмигнул, – тебе бы, а?..“ Он знал толстого Калэ, дядю парня, хоть и делал вид, что плохо помнит имя Тонкуля, а не выпускал из вида – этот пригодится...

– Тебе, Бровин-купец, шкура амикана. Прими, – это нима² сказал, что мясо делил по людям.

Гарпанча лежал в чуме. Лицо посерело от боли, ноздри запали, а какая-то старуха щупала его плечо. „Сэдук бы в момент направил... да это и мне посильно“. Бровин отстранил старую и мягко взял в огромную лапу безвольную руку парня. Другой своей ручищей Иван Кузьмич охватил плечо Гарпанчи, пальцами вывих определил. Плечо сильно отекло, мосол у охотника торчал ниже подмышки даже, на соске лежал, Иван Кузьмич осторожно огладил напряженные мускулы, ощутил под ладонью ключицу – цела, ничего...

– Держись, казак-паря! – поднял его руку, повел в сторону, и поворачивая направо в плечевую сумку мосёл, сам ощутил под пальцами толчок встающего на место сустава: щ-чеол-к! – Во-т-так, и ладно... Вот выпей-ка, заснешь теперь скоро. Зайду потом, разговор будет. Ты молодцом, Гришка!.. О Сэдуке, знаю, спросишь – не ломай башки покуда. Арапас у меня, твоя девка будет... Укройте его. Теплее! Я тебя не оставлю, крестник...

Тонкуль сидел на корточках за чумом и слушал. Глаз его не было видно, круглое лицо не выдавало желваков, но зубы парня были сжаты и как бы сквозь сжатые зубы цедились мысли: нет... Арапэ-Катя мне... возьму... разве хуже безродного иргинэ стреляю?.. скорее ходить буду!..

² Нимак – старый, старший (тунг.)

Глава четвертая

1

Ему даже в мыслях не хотелось возвращаться в фабрику. Раздражение на появление сына разжижилось по большому телу Ивана Кузьмича вместе с выпитым на тунгусских поминках спиртом и сладким куском медвежатины, но взамен раздражению никакого азартного возбуждения, понуждающего к поступкам, не наступало. Бывает же такое у человека состояние: дел наворочено много и все они требуют какого-то разрешения; как корова, выносившая теленка, но уже уставшая от его постоянной чуждой тяжести в себе, ей бы напрячься, напрячься природным воздухом и внутренними мускулами организма, но она расставит все четыре копыта, чтобы держать прогнувшийся хребет подальше от неосознанной ею почвы, и мычит с налившимися тоскою глазами по недалей луне, позабыв землю, которая вскормила и дала страсть к продолжению. Бровин медленно брел от стойбища, вяло придумывая, что это бы ему сейчас лежать помятому медведем, закрыть глаза и не впускать в себя ничего, кроме боли, не слышать заботливой суеты над собой, но чуют заботу, потом он решил, что напрасно послал Еремея, куда лучше было пойти за стариком самому, вдвоем бы и кончили это, породнившее безнадежным разъединением их земных назначений, дело с золотым ручьем... может вместе и успокоились бы там, земля приняла бы и примирила, а людишки пусть возятся дальше, а кто-то припомнит, жалея – так в детстве хочется убежать от спроса за озорство, пропасть вовсе, чтобы жалели... „Во-во, и еще, небось, чтобы сам одним глазком наблюдательность имел, хреновина болотная, – осек себя Бровин. – Чур его!.. это старик там мутит в тайге, волшебку свою нагоняет! Не-ет...“ И еще: „С Любовью... успокоить... ничего уж не повернешь, так кому такой узел нужен – Кириллу сразу сказать, просто... Чо просто-то, дура еловая?..“

Иван Кузьмич ворвался в дом: „Как баня-то?!“ Но Кирилл с Лужиным еще не вернулись из бани, хотя стол уже ждал их.

– Ты с девчонкой, Любовь, тоже в баню иди. Отнесла чистое что им?.. вот теперь сами ступайте, мы уж управимся пока... поговорить по-мужински, он там из крови вылез... без вас пока, а ты не мечись, не мечись... образуется. Варсонофий-то где, эй!.. – опять казалось, что дом звенит от его скороговорки, а стаканы дребезжат от насильственного возбуждения.

– Ох, громко все, – начала Любава и ткнулась лицом в косяк двери. – Вы... ба-атя... ты... да что же де-елать-то мне-е!..

– Шумно больно ты устроил, Иван, – рокотнул за спиной Бровина поп. – Не ждали, понятно... А насчет баньки, красавицы вы мои, – это хозяин прав... Пар дело мягкое, душу равновесит...

– Ты, отче, ко мне переберешься, ночевать, значит, – сказал ему купец. – Там Кириллу Иванычу постелим, у тебя. А инженера – в Еремееву, пусть Игнашка к пацанам идет... Присмотри, Любовь, чем паниковать... Болен Кирилл-то, э-э, грехи мои... Туда я!

– Еремея-то по старикову душу заслал? На тебе, Иван... – но купец не ответил отцу Варсонофию и вышел. – Ты не грусти, дочка, Григорий целым вернулся, не обидят тебя здесь... отец не пропадет, верь... – это отец Варсонофий уже Арапэ успокоил.

Труднее всего жить доброму человеку, когда сердце его слышит стон, который сочится в дыхании людей вокруг, а утишить его или хоть перевести в энергию сознательной жизни нет возможности... или умения... „может оттого, что сам несчастья не познал, – жестко подумал о Варсонофий, – не претерпел... от жизни отказаться легче, в страхе перед богом мы оставляем человека, а через страх, когда унижится – что остается?.. а без страха – где окорот страстям, в

которых грешник одному себе потатчик?.. да не о том сейчас! Им ведь в глаза глазами встретиться... неладно ведь! Но как не заставлял себя, не находил „отец-батюшка“ – и так звали его тунгусы – в себе слов, чтобы облегчить боль этой красивой женщине, которая никак не может удержать слезы, хоть крутит платок свой... не истерика ли?.. да и не боль это еще – смятение... или запоздалая совесть... что ей грозит?.. вот офицеру тому предстоит... тому справляться надо – к жене ехал...

– А вы... их-ой!.. вы любили когда, что... да что же ох-х... что осужда-аете, – вдруг тёмно взглянула на него Любава. – Собирайся, Катя... да что я – тебе же подобрать одеться...

– Не осуждаю, нет... – но женщина уже не слушала и скрылась за занавеской.

Арапас с детской тревогой смотрела на него, отец Варсонофий улыбнулся ей: „Ничего... Твой Гилгэ будет. А здесь... помоги Любовь Васильевне-то, сестрой будь...“

– Она помогла бы... да дикарка! – почему-то откликнулась Любава. – Выдаст свекор ее за парня того... за охотника, он старику обещал... а зря – со мной бы уехала, красива!..

– Служанкой ее осчастливишь, Любовь Васильевна? – насмешливо пробурчал священник, чтобы разрядить напряжение, и не сдержался дальше – он ее считал повинной в нынешней панике многих сердечный сбоек. – То-то славно ей будет от воли при твоих горшках... прости уж на слове таком!

– Их брат мой, однако. Мои легче уходил отсюда. Иво Гарпанча суксем не быть мужа. Иво не любить мой! А Любовь хотели помогали мой... шибко суксем плакали Любовь. Жалько вовсе, – неожиданно заговорила Арапэ и смело взглянула на отца Варсонофия, хотя загорелись скулы медно-матовым румянцем.

– Во-от!..

Отец Варсонофий удивленно смотрел на девушку. „И здесь не слава богу...“ – подумал. Но промолчал.

Иван Кузьмич застал сына с другим гостем отдыхающими в предбаннике. Пахло старым дымом, свежей хвоей, мокрым бельем. Кирилл безвольно облокотился на стену, плечо его было уже вымазано застарелой сажой, спина, видно, была такой же, а сил снова идти в горячую бвню наверняка недоставало. Лужин встал: „Хорошо! Еще один заход... Пойдем, Кирилл Иваныч, обмою спину“.

– Это кто еще постирушки устроил?! – Иван Кузьмич показал принесенное. – Бабы постирают, нечего. Здесь подберете, подойдет, думаю, – ай я не купец! Го-осподи... и тощой же ты Кирка!.. – горло его при взгляде на сына перехватила острая жалость, лишь сейчас он настоящему ощутил сосущее, бессильное чувство вины, какое возникало в нем еще с детства, когда увидел он раздавленную саями собаку, она тащила передними ногами другую родную часть своего тела и так старалась сохранить уходящую жизнь, что уже и визг жалобы загоняла в боль, чтобы не растерять на дороге остаток жизни, и только глаза удивленно и жалеючи смотрели на отрицающую ее существование природу. Иван Кузьмич позже всех собак объединил в своей жалости, но не мог принять их зависимости от бытия человеческого, а потому собак не держал. Вот эта вина за то, что он вырастил сына для боли и теперь готовит обрушить на него еще большую, вдруг заставила его задохнуться при взгляде на впалую грудь Кирилла, на обтянутый серой кожей костяк, которому он, по всему, так мало отделил от себя вещества для роста и укрепления.

– А я вот сам тебя обмою! – подстегнул Бровин себя на действие и стал скидывать одежду. – Чем же ты там воевал-то, воин... кто тебя гнал на ту проруху... это все там такие выходят ли? Одно лихо – лошади таскать легко, а шашку чем замахивать... такие хляблые... ну, пойдем, помогу! – жив и слава те...

– Ты не жалей, отец, я попривыкну... жить, – Кирилл поднялся, тонкий всем своим телом и лицом, закашлялся. – Кха-хо-хо... Я ведь ненадолго... Лужина соблазнил, а потом уже назад

отступать не хотелось, – он засмеялся как-то шершаво, снова надолго закашлявшись. – Перехитрить хотел... да...

– Кого перехитрить-то, – насторожился Бровин.

– А немощь свою, легкие – думал, тай... к-хаа... тайга, воздух смоляной, а здесь, пожалуй...

– Вот чо! а мы и обхитрим... давай, залазь в пар-то, – и закричал на пороге в сумрак нагретого воздуха. – Каменка-то горяча ли, начальник? Выстудили, черти забродные... это кто в холоде-то парится! – он смаху плеснул ковш на камни, подождал и еще добавил. – На полок, Кирка, я те похлещу... не задохнешься, отдышим! Все вам, грамотеям-умственникам лишь вполовину впору!..

Сам Иван Кузьмич должен был согнуться, чтобы не подбить плавающий в пару потолок. „Эй, а кто ж это белый свет парует, отдушину зачем не закрыли!“ Стало горячо, инженер слез с полка, а громадный Бровин, медведем ворочающийся в воздухе, порожденном двумя соперничающими началами – огнем и водой, казался сейчас сам рожденным этим противоречием, как и вся природа. „Ты удушишь меня, отец!“ – „Ничо-о, это тебе не германец... небось, были бы у них бани, так не воевали бы!..“

– Вот это решение вопроса, – засмеялся внизу Лужин. – Это к тому, что голые все равны, а?!

– Это к тому, что пар всю нечисть из души выжимает, – и осек себя внутри: „вот сейчас и выжми из себя... на сына своего... может, вот так и рассказать – просто...“

– Ты, Лужин, давай... чтобы не торкаться там друг в дружку. Мы сейчас тоже... пусть следом бабы попользуются.

Это как же – просто-то?... вот так и ляпнуть: мол, живу, сынок дорогой, с твоей венчанной женой, уж и ребяенок получается... кем он будет ему? Мысль уж вовсе никчemuшная, но воткнулась ведь вот – внук ли сын, а Кириллу – братом-сыном, значит... и оставлять нельзя может и в баню вместе надо было... „Эй, хватит, не могу больше... у-ух, оте-ец“, – вскинулся Кирилл.

– Да, сынок, давай обмою... подожди, вот та-ак, – „зачем приехал?... ведь все равно... но не в постель же их самому лбжить... эх, Сэ-эдук..!“ – он ненавидел сейчас старика-тунгуса лютой ненавистью, его долголетнее упрямство узел завязало... „Во-во, вали теперь на него, на бога, на лешего... да скажи же просто – не устоял... жалел Любаву“, но в кулаке опять сердце и така-ая тоска, что скучно становится все.

– Давай, Кирка, поторопись. После бани и нищий пьет! Вот как хочется на радостях... неожиданных путем посидеть...

2

– А ты чего-то все больше молчишь, а, Кирилл Иванович? – тоненько спрашивает Бровин сына.

Он рад, что подвыпивший и оттого вдруг озлобляющийся Лужин завел спор с о. Варсонофием. Впрочем, говорит больше инженер, торопливо пытаясь сразу разбить главный посыл священника, который сам же Лужин и развивает, считая, будто угадывает слабину в материале ума о. Варсонофия: „Ваша вера всегда примиряла нищенство тела со скудостью духа... мы одни можем научить человечество братству... мы упраздним всех паразитов, которые кормят дураков сказками, отбирая взамен саму жизнь... мы заставим человека стать счастливым без ваших ухищрений“. „А как же человеку без сказки, – нехотя отвечал попик, а сам поглядывал на Кирилла. – Когда верит хоть в гнилушку болотную, все его душе легче. Грех его веру застить... ему умирать придется... куда безверие путь открывает, думали?..“ „Сам по себе человек – тьфу, только соединенный в братство, в коллектив он преодолет...“

... – Чего говорить, отец? – медленно ответил Кирилл и отвел подвинутый стакан в сторону. – Нет, мне хватит... и без нее жизни не много осталось... слов я много наслушался... разных, а вот когда из солдата кишки вываливаются, а он запикивает назад не потому только, что жить хочет, а потому, что без него дома некому землю вспахать, а после детей накормить – вот тут не до словес... а жить кто же не хочет?..

– А ты? – Бровин сморщился и положил тихонько свою лапищу сыну на плечо, огладил по худой спине. – Как... там хлебнул... что за газ такой?

– Газ... горчицей отдает... Под Барановичи нас с юга перекинули, решающее задумали, а там... А... к-ха-х... не хочу!

– Найдем докторов, не может быть... Как это вы сами по тайге решились, Лужин, хоть грамотный, а не больно надежда большая.

– Ну, что там сами... по реке сначала, потом тунгуса проводником... тесно мне там! А вы... не зимовать здесь собрались? Когда узнал, что с Любой уехали – мне Лужин сказал...

Вот, подумал Бровин, вот и подошло... и нечего финтить, пора чтобы уж... Продолжить он не смог и махнул стакан в рот, захрустел закуской. Священник гудел рядом: „Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем... довольно для каждого дня своей заботы“. „Вот-вот, – перебивал его инженерский баритон. – О завтрашнем дне вы с богом да купцом позаботитесь!..“

– Чего вас сюда ссылают, – вдруг обернулся к нему Бровин. – Отчего Сибирь отхожим местом сделали... Без купцов, говоришь да без товара? – это как?.. Вот ты все рассуждаешь: поравняем всех, чтобы, значит, богатых не было... одну нищету оставить – это ведь проще простого, вот хоть мор-войну напустить али вовсе бесполезным труд сделать... вот есть за Томском деревня, Проскоковым назвали... ее проскочить, говорят, лихо было – вся деревня сплошь разбойные... ну и что? отвернули дорогу-то, охрану поставили: обнищали, потому грабежом много не наживешь – друг дружку стали гнобить, потому жизнь и труд им – тьфу... и сгинут! Ты вот сделай, чтоб бедных не стало, голова.

– Тр-руд станет радостью, когда все будет общим! – пьяно вскинулся инженер. – И не надо будет... сытость делает глухим и жестоким!

– Ты вот с ним говори. Оба о душе хлопчете, – отмахнулся Бровин. – Нам вот с сыном... Сейчас и пельмени будут, Любовь придет и будут... хорошая еда не вредит душе... то-то голод человека нежными делает... зависть одна!

„Сострадание – так это божественное в человеке...“ – гудел свое отец Варсонофий, но в голосе его ловил Иван Кузьмич сомнение... а может, ему хотелось услышать это сомнение, потому что чужое сомнение всю жизнь давало ему возможность укрепиться самому.

– Отец, что это за девушка с Любой? Тунгуска... – и еще добавил: – Ты не торопись наливать, хорошо?..

– Здешняя, Арапас ее зовут, а крещена Катериной... ты за меня не... она дочь друга моего, да так в момент и не обскажешь... пусть у нас поживет.

– Диковинка... хр-ох...

Он сидел и спокойными холодными глазами смотрел, как суетливо наливается искусственным дурманом отец, как все больше мрачнеет. Ни к чему было ехать, зачем? Прощаться, что ли?.. или страшно стало и нежности родственного тела захотелось, а у отца вон его сколько... тела!.. Или?.. и в самом деле неосознанная, непризнаваемая, отталкиваемая увертками ума – месть вела его сюда... „ах, вот поглядите, на глазах ваших умру!“ ну-ну-у! А – страшно ведь, до бешенства страшно, вот вскочить, револьвер выхватить... дур-рак!

– А я не любил ведь... – вдруг прошептал Кирилл. – И тебя тоже... все само собой как-то.

Отец вдруг разглядел, какой его Кирилл еще мальчонка, подумал, что он, мужик вот в силе, никогда не раздваивался на него, на сына, не тратил на него естества природного, кроме

мелких усилий... а что же на плевке подорожном вырасти может?... даже памяти родства или радости зачатия не успел почувствовать... побродяжка! Хва-атит...

– Мы вот что... пойдём посидим двум-сами... пусть их здесь, а мне все одно лучше одному сказать тебе... выпью!

...Арапас раздевалась без стыдливости, а Любава смотрела на нее и медленно принялась себя вылушивать из одежды, лишь когда уловила вопрос во взгляде девушки. И восхищение: Арапас нравилась привычка этой женщины стаптывать с себя одежду под ноги. Любава казалась ей подобной лилии, что выныривает вдруг, всплывая и раскрываясь над водой белым цветом. Боязно: темная строгая вода, недоступна, холодна темь ее, и – ух-о! – взрывается лилейный цветок снежными лепестками, зовет руку протянуть. Смеется Арапэ, пальцами чуть касается округлости плеча.

– Ты чего это, Катюша? Развеселилась? – спрашивает женщина.

– Белая твой... красивый! – произносит Арапэ.

– Да-а? – Любовь поднимает руки, под взглядом девушки неторопливо вытаскивает из тугого узла волос на затылке шпильки, последним она вынимает тяжелый фигурный гребень и легко встряхивает круглой головой: слышным серебристым шорохом рушатся на плечи, текут по спине и груди пепельные волосы. Женщина с удовольствием смотрит, как мерцают расширенные зрачки Арапас, как раскрываются в детском удивлении и восторге полные губы тунгуски. – Нравится? пойдём-ка, чего здесь стынуть...

Она небрежно перешагивает одежду на полу, открывает тяжелую дверь бани, берет девушку за руку: „Пойдем ли... греться станем“.

Горяча еще каменка, но пар уже не обжигает, а влажно обволакивает тело. С непривычки Арапас вздрагивает, когда Любава плещет на камни, с опаской отступает к двери, крестом прижимает руки к груди: „Нельзя... обидится тогоё-эбэкэ... захлебнется огонь-бабушка – нельзя лить...“

– Что бормочешь, глупая, испугалась? – смеется женщина-лилия. – Не обожжет уже, то камни горячи – смотри!

Она снова плещет и тело ее почти растворяется в ленивом пару: „Лезь! Ко мне на полоч... здесь вот как славно... иди же, глупая... ну что за дикая девка!“ Любава спускается и отводит руки Арапэ, оглаживает ладонями смуглые плечи, заставляя капли, осевшие росой на коже, сбегать на грудь, щекочащим ручейком пробежать по спине: поневоле засмеялась девушка, подчиняясь этой русской, молочная грудь которой почти касалась ее розовыми окружками сосцов. „Вот видишь, вот видишь, – зашептала Любава, увлекая ее на полоч. – Как хорошо здесь... ты не сжимайся, ну-ко!“ Она облила Арапас водой из деревянной шайки, девушка фыркнула водой, набегавшей в рот, и придержала руки Любы: „сам...“

– Да косу расплети, гос-споди... как я... волосы-то промоем, такая уж бу-удешь!

Любава чуть отодвинулась и оглядела девушку сузившимися глазами: ее ведь Иван с детства знал... как не углядел?... а не в его, видно, вкусе тунгусочка, грудка маленькая, торчит... заострилась, как у сучонки... и живот плоский. Она выпрямила спину, вновь привлекая к себе взгляд Арапэ, и томясь под этим взглядом от неосознанной мысли, лениво подбила полные свои груди ладонями, плотно повела по бокам, животу, бедрам – до округлых колен, сплетая пальцы, охватила колени и медленно закачалась взад-вперед, резким поворотом головы пытаясь отбросить осыпавшие лицо волосы. „А вдруг знает она... куда старик тот пошел... отец ее? где на золото дорога... это ведь Ивана держит?“

– Ложись-ка, ложись, Катя! Научу мыться, потом меня потрешь... Нравится, как мыло душисто?... сама так пахнуть будешь, а то... как зверушка... во-от! повернись... эх, не мужик я!..

– Музик? о-ей... щхи! – в глаза Арапэ попало мыло, она терла их, а ресницы слиплись от обильных слез. Любава зачерпнула воды: „подожди же, смывай!“ и сама ладонью омывала ей лицо. – Это твой музик пришла? Тебя ласкать станет... та-акую!

Девушка ушла из-под рук Любавы, села, плеснув себе сама в лицо воды, и смотрела, как красавица взбивает пахучую пену на мочалке. Уже понравившимся обоим движением руки коснулась Арапэ плеча, смело повела по боку обмягчевшими пальцами, коснулась широкого бедра, колена: „Бе-лый!.. бое ласкать хорошо!“

И здесь растворилась дверь, холодный воздух клубом ввалился в помещение и медленно поплыл к застывшим от неожиданности женщинам. Любава опустила взбитую мылом вихотку к бедрам, еще не понимая: или дверь отошла?.. Но Арапэ уже увидела: на пороге топтался Тонкуль, его прищуренные глаза пытались привыкнуть к рассеянному свету лампы с задрожавшим язычком пламени. Тонкуль был пьян. И удивлен: он не ожидал, что здесь, в этой „пане“ найдет женщин совсем голыми. От неожиданности он плотно хлопнул за собой дверь.

– Мне Лузин-насалника сиказал, – он зашепелявил и попытался увести свой взгляд от белой русской Любви Васильевны, но как раз и не мог этого сделать, – Сиказала насальник, цто Арапас паню мосса... говорить мой хотела.

– Ты куда залез, че-его выпялился... ме-ерзв-вец! – голос Любавы поднялся до визга, тунгус втянул голову в плечи и зачем-то стянул с головы платок, которым был повязан.

– Ты моя будешь, Арапэ, – быстро и возбужденно заговорил он по-тунгусски, найдя наконец девушку взглядом, под которым она съежилась, подтянула колени к лицу, голову прикрыла ладонями, даже ноги заслонила локтями, а упавшие волосы и вовсе почти скрыли Арапас от мужских глаз. – Бровин-купец Гарпанче тебя обещал, но наш род всегда брал жен от вашего рода... а Гришка, – он с удовольствием выговорил это русское имя приемыша Сэдюка, – прибудный и старики не дадут! Большой Иван уйдет, мне Лужин говорил, что мы и выгнать можем... а Гарпанча без старика кто? Я тебя кормить буду, у моего огня сядешь... вот!.. ухажу теперь – Большой Иван еще сам отдаст тебя!

Арапэ неожиданно подняла голову и лицо ее вдруг оказалось твердым, как у отца, и сэдюкова зеленая искра сверкнула в глазах, и голос звучал без смущения, ровно не обнаженная девушка говорила, а старуха на совете: „Ты! Ты знаешь, куница, как моя мать умерла? Твой дядя вот так же хотел ее, когда отец в лес ушел... я маленькая была, слышала... и голодать заставлял, а потом... ты такой же Калэ... и брюхо такое... никогда!“

Здесь русская швырнула мочалку прямо в лицо Тонкулю: „Уйди!..“ Соскочив с полка, Любава неожиданно ловко ухватила нахала за шиворот и толкнула парнем дверь. И здесь ей в мысли вошло имя, которое они повторяли – Сэдук. Женщина, еще не отпуская Тонкуля и будто забыв о своей наготе, вытолкала его в предбанник и повернула к себе его круглое слезящееся лицо, шепча: „Твоя Катя будет... сама сделаю – узнай от старика, что от Ивана скрывал... узнай!“ И толкнула вон. „Мой сама тот хотели дела“. Но она уже вернулась к девушке, плотно притворив дверь. Камни на очаге зашипели чуть слышно, тепло из них уходило, хотя вода еще не остыла в огромном котле.

– Видишь, как горит по тебе тунгусишка! – обняла Любава девушку, все так же съезжившуюся на полке. – Вот ты красива, да не про таких... а мне вот...

Она вдруг захлебнулась плачем, словно лишь сейчас поняла, что происходит здесь и вокруг: „Белая, говоришь?.. как же – ласкать станет, он меня и сначала-то ласкать не хотел... белее была... ох=оюшки! погоди немного... я уже и теперь-то себя толстой чую, бе-езобразной – разнесет меня... ненавижу себя, как квашня-а!.. А здесь еще и ему надо явиться, Кириллу... уж лучше бы... грех мой!.. да влюбился бы где там, в России...“

Поняла Арапэ сразу, видно в клетках женских сидит то понимание, пусть даже девушка и мужчины еще не познала, а голос материнства ведом, в крови течет: „Плакал радости твой надо! Мать... эне будет твой“. Так красиво, мол, раздвоишься потом, торопилась сказать Ара-

пас, уже забыв дурной взгляд сородича, вот... смотри, какая грудь у тебя, кормить будешь сладко, дите сытым станет расти...

– Это тебе хорошо... ты вон... еще как кобылка необъезженная, – откинулась Любава, она глубоко вдохнула влажный воздух, сама удивляясь собственному желанию говорить, рассказать или поплакаться этой девушке, которая нарожает скоро здесь сопливых... „да, тунгусят-зверят, вон какой муж заявился!“ – И не иди замуж! И зачем мне-то все это... что ж я здесь ли рожать до-олжна-а!..

– Муж, спрашиваешь, пришел, ласкать будет? Ты, глупенькая, подумала, когда я от него понести могла, ежели только пришел? – она взглянула в удивленные, расширившиеся зрачки девушки. – То-то и оно... Муж мне Кирилл, да ребенок-то... отца...

– Твой? – со страхом спросила Арапас.

– Давай-ка, я еще тебе голову полью... вот! Дикая ты: Кириллова отца, Ивана... Большого, как вы зовете... два года без мужика, а грех не простят мне=e!

– Э-е, – неожиданно легко рассмеялась девушка. – Большой Иван право имел твой дети делал... твой жена ему быть, коли сын помирали!

– У нас не так... да жив же муж-то, дура! Сколько мы с ним ни спали... ничего... А от Ивана сразу понесла. Мне мужа и ласкать отродясь не... зато – о-хх!.. Ну вот: я же знала, что пойдет тебе платье... кра-аса, самый цвет твой зеленый... да куда ж ты свои штаны-то под него!

– Не любит твой музик? Живи который любить, – сказала спокойно девушка и прикрыла вдруг глаза. – Нет, однако... парень твой грустный... от него вся кожа теплом ходит...

3

Всего ждал Иван Кузьмич, только не этого спокойствия сына. Он вслушивался в хриловатое молчание Кирилла и торопливо пытался пробить это спокойствие, придумывая и давнее влечение свое к Любаве, и долгое обхаживание, которому противилась женщина, пока не застал врасплох ночью... Да что ж это я, думал Бровин, боль-то ему учиняю... сказал, что понесла и стой уже. Но его несло так, что и сам начинал верить в придуманное, и не виниться – чуть не жаловаться заехал, будто не сын уже сидит здесь, а приятель близкий...

– Не надо... не мучайся, отец, – произнес Кирилл, и Бровина кольнуло его равнодушие. – Пожалуй, я и рад такому... повороту... а что?.. ты столько по тайге прожил – у них, кажется, и вовсе нормально... я ведь все равно, что умер, у нас и детей быть с Любой не могло.

Не надо бы... и не хотел, а подцепил его тунгусской жизнью, а ведь тебе и в самом деле не нужна она была... и ревности вот нет!.. а кольнуть... Что ему рассказывать? Все далеко отсюда и непонятно... Лужин вон все о революции грезит, а солдатам умирать вот как надоело... волками на тебя, будто ты ее затеял... нахлебался той офицерской чести полную грудь... ох, и взорвется все скоро, а он здесь тунгусов ошипывает... Что причитать и винить: сам ведь пошел, добровольно... из патриотизма! Один старик великий умел увидеть и крикнуть всем, что рабство это – патриотизм, из которого дозволяется и в достоинство возводятся других унижение. Рабство, рабство... прав Лев Николаевич граф Толстой... оттого и лезем из кожи: поляки взбунтуются – патриотов кличем, на японской тоже героев погубили тысячами несчитанными... тунгусов вот благодетельствуем ясаком, а подними они голову – патриотов кличем... и добровольцы ведь толпами!.. Кавказ вон чуть не сорок лет всем миром „замирали“, историю патриотическую писали... кх-хр... вот и теперь: патриоты с патриотами газом друг друга душат... германца ведь тоже обязательно с оркестром на фронт провожают... банты на грудь... Patria – отчая земля, отечество, на земле жить бы...

– А ты патриот, отец? – неожиданно спросил вдруг Кирилл и рассмеялся. – Да нет, я не сомневаюсь, ты ведь на войну не одним мной жертвовал... ну, прости, сам я, сам... и деньги ведь давал, так что все в порядке... А ведь по России сухой закон, знаешь?

– Здесь не Россия – Сибирь! Мое дело купеческое... – Бровин-старший выпил и встал во весь рост, нависая над сыном. – Холодная у тебя кровь, Кирка... ты не гне... м-гм... не расстраивайся уж, только я бы... вылечим мы тебя!.. вот дождусь одного тут... хотя и в Италию, слышал такую, отвезу... души на нас не держи!.. Пойдем-ко.

– Уж вы без меня, отдохну. А лучше... схожу-ка я к тунгусу тому, что нам по дороге попался, раненый... Как он? Медведя ведь – один...

– А сходи, верно, – готовно ухватился Бровин. – Григорьем крещен, оклемается... а ты сходи, я тебе и провожатого дам... А насчет медведя, – Иван Кузьмич засмеялся снисходительно, – так это здесь и Арапас может, крестница.

– Сам найду... Катя эта? Зверя? – но за шутку принял.

Сын накинул было свою бекешу, но Бровин забрал ее и набросил на прямые плечи Кирилла черно-серебряную собачью дошку, ниже колен пришлась. „Тяжеловата малость, но как печка“, – он придержал ладонями плечи сына, сердце защемила тоска. Вот хлопнула негромко дверь за Кириллом, впустив на секунду протяжный собачий лай.

– Скушно! Ох и скушно мне-е... – протянул Иван Кузьмич и пошел к людям. „Закатить бы куда... подале. Дак стар, видно...“

– ...Все, – угрюмо пробасил о. Варсонофий, увидев его. – Инженера твоего я уложил, отбуйнил он языком своим... чего, а слов у него довольно – Satis verborum, видишь... помнится еще!

– И ты еще с латынью... а они? – он кивнул на занавесь.

– И бабоньки наши спать легли-поместились... – попик оглянулся на другую комнату и совсем притушил голос, – сама с Кириллой Иванычем говорить придет... упарилась немного.

– Ни к чему ей, пусть... говорено уж! – прозвонил Бровин и вновь понизил голос. – А вот я к тебе, отче благородный, по... твоей части поговорить хотел бы... у тебя лучше.

Они перешли в попову каморку, где держался застойный и сложный дух хвойника, звериного запаха шерсти, сапожного дегтя и лампадного масла со свечным нагаром. Окна в каморке не было, воздух проникал сюда в прорубь бревна под самым потолочным накатом, но и эта прорубь была нынче заткнута комом мха с шерстью. Сумрачно было здесь. Мрак не рассеивал голубовато-желтый огонек у икон в углу. Светилось лишь тонкое молодое лицо богоматери, чуть склоненное долу, где должен бы быть младенец. Но святого младенца на иконе не было, а чуть ниже зато справа проглядывали серьезные глаза Спаса, слева отрешенно голубело пятно – там, Бровин знал, помещалась Троица.

Он перекрестился: „У тебя, отче, свечей не достало ли?“ Но о. Варсонофий уже зажег толстую свечу в „летучей мыши“ и не стал закрывать в ней закопченное стекло. „Еще! – попросил Иван Кузьмич. – Будто на крещенский мороз закрылся!“ Он кивнул на комок затычки над сводом. Хозяин покосился и вносил чиркнул спичкой.

– Берлога прямо, – тоненько, будто жалуясь, отметил купец и сел на лавку. Вдоль другой стены шли полати в три широкие толстые доски, они упирались в бок печи, которая топилась в кухне. По полатам выстлана упругая подстилка из пихтовых лап, накрытых стеганным одеялом, давно подаренным купцом и потертым, а сверху наброшено одеяло из мягких оленьих шкур, сшитое нынче женщинами стойбища. – Исповедаться тебе хочу, Варсонофий...

Но здесь же поднял руку – „молчи, мол“ – взвизгнула, а затем хлопнула дверь. „Не пошел, значит... просто избавиться захотел... Ох-ти мне, господи!..“

– Это Кирила Иваныч? Куда собрался-то ночью?

– К Гарпанче. Да знал, что не пойдет... так прими мои грехи...

Будто и сам не знаешь, думал Иван Кузьмич, и вино не берет, скучно душе! Или в тайгу уйти... к Сэдюку бы! Да что можно назад повернуть... вот и Любава, ей-то... И все недодумываешь...

– Возьму и я грех на душу, – дошли до него слова попа. – Не стану нынче тебя слушать... о другом давай, не готов я...

– Все не додумываешь... сумятно одному концы с концами сводить, затем и нужен ты!

– Не готов я. Думаешь, просто: слушай, мол... ты в себе дергаешься, отклика найти не умеешь... что исповедь? С моей помощью к Богу в себе обращение... Вот – Троица святая, молишься, крест кладешь, а что есть? Все в нас: Бог-отец – память твоя, Бог-сын – разум твой, Дух святой – воля твоя... не соединишь воедино – себя умертвишь, а ответственность придется в душе, как ни вертись лукаво... сожжет ведь?.. Вон, мне инженер твой нынче наговорил... обман, мол, к рабству располагающий – под корень, мол... и благоденствие наступит, у всех глаза откроются и брат обнимет брата, думается, во труде праведном... да было уже, а человек не... клавиша, чтоб нажать и своим голосом пискнула... много голосов; а рабство разве законом устранишь – с оного, мол, дня?.. лишь рабов ослами сделаешь, сена от хозяина жажущими да меж двух стогов с голоду дохнувших... Вера – желание гармонии триединства в себе есть. За нее в себе бороться, себя образовать надо... в мире и с миром, а не отрицанием сущего, в коем память не мало значит.

Помолчи пока, это ведь я и о себе говорю... терпения в нас недостало – иных слушать. Есть церковь, есть и Бог – вон выйди теперь, небо над тобою бездонно и беспредельно, но и без взгляда да мысли твоей, кто его с землей соединит? – церковь, говорю и Бог – не обязательно слиянно, ибо первая лишь инструмент, секстан, знаешь?.. которым путь лишь подправить или поверить можно, сам же путь один человек выбрать может... к себе путь тот... да истинность себя определить сложно, да – майся и мечись, только за чей счет все?.. Кто же ты: потребитель благ, другими содеянных или – даритель?.. непросто выбрать, ибо и дарить чтобы – иметь надо... хоть мысль свою, отличную от... И здесь – гармонии... вот не готов я нынче тебя облегчить пониманием: грех разделить потребно состраданием... со-частьем, а во мне самом смуты да сомнений... Да и негоже, Иван... разит перегаром, где уж до чистого разума – по стихии своей пришел ныне... зельем возбужденный... завтра меня же и врагом усмотришь – в новый грех себе. Пойдем-ка на воздух... оба теперь, задохнемся вот здесь...

Они вышли, стараясь не шуметь.

Однако Кирилл все еще лежал в темноте с открытыми глазами: „Мається... как судьба распорядилась, что вот эта глыба с голоском котёнка – отец?..“ Он застонал: из нутра к горлу опять накатила ком, несущий с собой запах, от которого рождался ужас. „И здесь... У! оу-ых!..“ „Бойоё... – услышал он вдруг и почувствовал, как на лоб его легла легкая рука. – Тёплый бойоё!..“ Кирилл повел рукой к голове, потом в сторону, но никого не было. Он сел на постели, протянул руки по сторонам... здесь явно никого не было. Внезапно тоненько засвирбело в углу. „Сверчок-то здесь откуда?..“ Он лег и вытянулся, прислушиваясь, ощущение запаха ушло из него. „Спа-ать!“

Однако наплывший было сон в ключья изорвался накотившимся кашлем. Кирилл двинул головой подушку, она медленно вывалилась на пол. И опять он ощутил руку, только это оказалось иное ощущение: женская ладонь подsunулась под затылок, притишенный голос не оставлял сомнений: „Выпей...“ У губ своих – „видит она что ли в темени такой?..“ – он почувствовал кромку кружки и, медленно приподнявшись, опираясь затылком на руку, он глотнул теплый медвяно-горьковатый отвар. „Держи и потихоньку... до конца. Легче станет...“

– Ты? Люб...а, – он усмехнулся, потому что чуть не повеличал ее отчеством. – Больше... никого не было?

– Кто может? Отец... – она запнулась, – Иван Кузьмич... они с попом засумерничались.

И вдруг лоб ее упал на его руку, опирающуюся на край постели, Кирилл узнал шелковистость волос, рассыпавшихся с головы, плечи ее вздрагивали сухим рыданием, но памятный

земляничный запах, исходивший от них, отчего-то вернул ощущение того, другого... Он сел и колени его коснулись ее подрагивающего теплого плеча.

– Прости... Христом-богом... закли... прости, – шептала Любава, не давая ему высвободить руку. – Мне жаль... но я сама... сама... Ты ведь даже во сне меня не видел... и там!..

– Не видел, – подтвердил он. – Во сне я там... больше слышал... как пушки ухают да люди стонут... и страх свой, признаюсь, слушал... тебя ни разу... зачем?.. и теперь... коня вижу, пена у него на губах пузырится... а ни встать... ни заржать напоследок... коням противогазы не дают, а ведь... они-то вовсе ни при чем!..

– Пожалей... прости... нас. Ведь родить мне...

– Гос-споди, да... – ему вдруг захотелось спросить, брата или сестричку думают ему... но осекся, придержал себя. – Что я-то...

– Озлобился ты... на себя не похож. Ты же в Москве в госпитале?.. – она подняла голову. Кирилл попытался увидеть ее лицо, которое, видно, поднято было к нему, и не смог. – Почему не остался... там доктора и... веселее...

– Веселее, точно... – ему вспомнилось угарное отчаянье ресторанов, утомительное внимание, за которым чудились страх и брезгливость к его кашлю. – Там? Выхаркивать, прости уж, легкие на чьи-то колени? Уволь...

– А... были, значит, колени?!

Он засмеялся: все правильно. И закашлялся. „Пей... пей же“. – Ну, что я могу, Любава? Виноватым себя признать?.. Нет у меня на тебя ни зла... ни... сил... знаешь ведь. Пусть так и будет... сюда вот...

– А сюда зачем? – успокоенное сочувствие прозвучало теперь в ее голосе. – Тяжело ведь... потом обратно...

– Не знаю, право... захотелось! Но не в укор... вам, нет. И успокойся, я не помню тебя... никак. Давай спать? Доброй...

Она наклонилась и Кирилл ощутил на руке поцелуй сухих губ. Опять застрекотал сверчок: и он прикрыл глаза: „Бо-оие“ – услышалось Кириллу в этом стрекотанье.

– ... Ты вот, считай, в тайге по-хорошему ни разу не был, Варсонофий... – шептал, подняв лицо, Бровин. – А живешь ведь...

– Мне в ваших душах блуждать достало, – шуточно ли, серьезно ответил попик, его лицо тонко голубело от блестящего хаоса звездной реки.

– Вот часом Любовь мне... ваша Васильевна морок прикинула, – заговорил вдруг о Варсонофий негромко. – Слово сказала: не любил, мол...

– Ну, ты вон какой... писанный! Как без любви, – откликнулся Иван Кузьмич. – Захоти – льнули, небось, бабы... исповедаться-то!

– Не то... и так было, как прыщи семинарские. А только блажь – не жертва... какая любовь без нее... тебя тот ручей Сэдюков многого лишил... и лишает, а это страсть лишь... да!.. Я ведь монашествующий священник... безбрачием плоть пересилить хотел – дух укрепить... гордыня: мое продолжение во мне, мол, через себя к вечному духу... и ересь индусская... а только не пронес Бог мимо: встретил я ее, любовь, на бродяжьей дороге... также монашенка она, Глафира... из Киева в Новгород шли, она с кружкой ходила – на раненых собирала. Кружка и сгубила...

Замолчал и забыл про Ивана, засопевшего рядом о чем-то своем... Взял котомку у нее... не так и тяжела... Лето красное, иди себе, травами дыши, пчелиным гудом да птичьими пере-свистами... инженер вон пристал: то читал, это... читал? Библию читал, ну, даже – и ничего кроме... зачем?.. думает, человеком одно чтение делает... хоть и страдание кого на добро безоглядное другого на мсть к чужому вовсе... натомила ли их тогда с Глашей дорога?.. отдали сироту в монастырь, постриглись... а невестой не Христу, мне стала, как до озера добрели, так

и стала... избушка у озера рыбацкая, нежилая, а сено вокруг чуть прижухлое, свежее, и луна вполнине улыбочивая по воде-бирюзе желтизной тенит и лягушки глушат-заливаются... „мне б помыться в воде, только жуть берет... ты закроешь глаза и проводишь ли?“... а потом, потом... „что ж не глянешь ты, аль уродина!“ – и хохочет... избыли монашество... души жаворонками в самую высь вплелись неразрывно... грех ли – найденность. Шесть дней и ночей и летать бы... уйти сокрыться велика ведь страна Русь а прикованы вот... к долгу ли назначению придуманному власти нет над судьбой „только кружку верну, не моя... солдатакам раненным“... отдала, да не выпустили... через три месяца как узнал... как узнал, что от воды с хлебом взаперти на „арену военных действий... да, да, в Маньчжурию... да – сестрой милосердия“... так туда... гос-споди, полковым священником... еще и креста удостоился... и не знать бы, да узнал ведь: в плен госпиталем попала Глаша не ушла от солдатиков раненных а они выздоравливали а они озверели от бездельной силы от безсмыслия ли безсмыслия рабского и в грязи утоптали „сестричку“ не японцы свои наиздевались скопом и бросили... тех потом тиф прибрал – вымерли... поругание естества наказуемо и на земли... хоть не увидел больше и неживой не знал и то благо...

– Рассказать-то хотел? – спросил Бровин.

– Рассказать? Я тебе байку про попадью расскажу... веселую! Это... был Иван, а женка у него в то время была поносная. Вот Иван в работу ушел, а здесь и поп случился: „Все бы хорошо, Марьюшка, что поносная, да вот плохо – недоделал Иван, рук-ног нету“. „Что же делать, батюшка?“ – „Да, – говорит, – давай я доделаю... только даром не стану: тулупик хороший да десять рублей“. Вот ладно-хорошо, принесла Марья, он ее повалил да откатал, теперь, мол, все доделано. Вскоре и разродилась мальцонкой, справным значит. Иван как раз пришел. Банька там, все, она его и попрекни: что ж, мол, делал-делал, да не доделал, хорошо – батюшка доделал, десять рублей с тулупом отдала... Почесал Иван в затылке, что теперь... а крестить надо: поехал за попом, тот ничего, собрался. Иван купель-то в снях и забудь. Приехали, как крестить-то!.. купель забыл. „Поеду, батюшка, что ж, заодно матушку в божатки позову“. „А и позови-и“, – поп согласился. Ну, вот, хорошо-ладно, приехал Иван, попадью кличет: пойдём, матушка, в божатки. Она, конечно, согласна: „Оболокусь только“. Ушла в другую комнату, а кольца-серьги на окне оставила. Иван и спрячь все. Вернулась, оболочкомшись, глядь-поглядь, нет. „Чего ищешь-то, матка?“ „А серьги-бусы куда запропастились, не видел ли где?“ – „Да в... видел, на коленях держала, мошь провалились?“ „А ты б подоставал...“ А достать не худо, только даром не буду, отвечает Иван, давай сто рублей денег да тулуп справный. Вот хорошо, сговорились, он ее на лавку да и отшатал, раз-два – бусы вытащил, дальше – и серьги с кольцами нашлись. Понравилось попадьё. Вот едут обратно, купель везут, пападья и вспомни: „Мы вот с батюшкой как-то с ярманки ехали, так я сковороду куда дела... как провалилась. Так подоставал бы, Ваня?“ Он ее в снях и расположил, долбил-долбил знатно, пока не утомились. „Моци нет, пласью лежит, матушка...“ Приехали, конечно, крестили, как надо младенца-то, вина выпили, попадьё с хмелю и упрекат: „Вот не можешь сковороду достать, так я Ивана просила... он мне уж за сто рублей денег да тулуп серьги с кольцами да бусы подоставал“. Поп молчком шапку сгреб и бежать, а попадьё все за ним... все попрекат!

– Чудным языком говоришь... чо ёрничаешь-то?..

– В деревне моей так... тяжело жить людям, а... забавляются вот.

– Чудно... Ха-ха-хо-е! – зазвонил вдруг смехом Иван Кузьмич. – Охти, так, говорит: „пласью лежит и мочи нет“?! Их! – и вдруг оборвал смех, тишина обозначилась вовсе ночная. – Ты чего это, а, Варсонофий?.. А – монашенка твоя... Глафира?

– Умерла она... там, – вдруг выверился всем своим басом, лоцо сделалось узким: – Не тро-ож-жь? О-гх...

Молчали. Бровин положил тяжелую руку на плечи попику: „И так вот ни к чему... Красива была?.. один ты, нельзя?“

– Ты Еремея притравил... Сэдюку ли к твоей выгоде жизнь отдать... На дочку его, на тунгусочку схожа, глаза синие...

– И тебе глянулась? – он сказал, только бы не молчать, но закончил уже про себя: „Что в обрат повернешь... сам бы теперь пошел... куда?.. бросить и в тайгу... не уйдешь!“ – он сунул руку за пазуху, нащупал самородок, повторил: – Не уйдешь!

– И снова ты дурак, Большой Иван... душа в ней женская... в них всех... богоматерь жива, да не даем... холуйством своим обозлены. У Еремея мать...

– Мать его у хороших людей пристроена. Там, в станице, родственники ли... они ее кормят, не пускают – Васю своего все искать ходила... я узнавал как, им деньги за то идут... и дом ее. А... может и прибрал Бог, без маяты... Втопоры он совсем малек был... знаю, скажешь, кровь обходится... И довольно! Посумерничали мы с тобой... наизнанку!

Глава пятая

1

Туман держался над болотом второй день. Еремею все же пришлось перебраться на этот берег: уходил от него Сэдюк. Сколько ходили, пятые сутки... шестые уже?.. Уводил старик и непонятно становилось, своим путем идет или Еремея водит, а что знает о преследователе, так наверное – что знать, оба, считай, и не таились друг друга.

Здесь было худо, деревья уже не могли укрыть на ночь, и Еремей завистливо отмечал след сэдюковых нарт – все при нем, и дом, и еда. Мешок же приказчика худел, он грыз сухари, дожидаясь утра у нежаркого костра и дымил табаком. Одна бы утеха, клюквы здесь в достатке, но она нынешняя и не тронута морозом, от малой горсти сводило рот. „Кто кого заходит, получается. Так и годами можно, жизнь тягучая, – усмехался Еремей. – А толку?“ Толку не виделось, а здесь еще и туман, по которому ему и подниматься нельзя думать, конец пути мог оказаться вовсе близко, и Еремей вообще удивлялся, что старику давно бы не завести куда своего преследователя... нет, стрелять человека не станет Сэдюк, но закружить... вот и туман наслал – Еремей усмехнулся: слабости своей человек всегда на стороне причину ищет...

А он ослаб отчего-то, впрочем, он знал – отчего даже хороший глоток водки не может прогнать усиливающийся к вечеру озноб, он думал, что навсегда избыл ее, лихоманку-лихорадку, прихваченную по мокрой весне таежного Поамурья в поднимающихся от жаркого дневного солнца испарениях, которые ночной росой опадали назад на развороченную бурными всходами землю, и выведенную из него одиноким китайцем, копателем корня, судьба будто навела на него истрепанного Еремея, чтобы нашлось кому похоронить того ходю, зарезанного через неделю кем-то недалеко от их лачуги. Хорошо еще, что успел узнать от него лимонник и аралию, да осталось немного риса... И теперь вот туман снова вползал в него, тек по жилам замутненной кровью, серой ватой забивался в голову.

В этот вечер его колотило, казалось, суставы в плечах, локтях стали мягкими, а туман плыл через него, и он не смог развести костра. „Пройдет, вот разойдется же, – собирался он в себе, когда особо сильная волна, мнилось, вытряхивала из головы морось и Еремей, выпив остатки, пытался свернуться в клубок, – до утра... а ведь ушел старик... пропаду“. Но на злость, которой хотел укрепиться, не было сил. Только однажды в темноте ночи, казавшейся тусклой, с трудом вдыхая влажно-густой воздух, он зачем-то выстрелил в туман, сам различая тупость сразу расплющенного звука. „Обманул я, – почему-то мучала мысль. – Решил... на мороз тот круг... обод мяса... поди ж ты подвело солнышко казацкое хоть бы оно глянулось... у Сэдюка-то еще собака греть мо... и хорошо что не стрелил тоже живот...“ Мысль снова увязла, он все соскальзывал в забытье, которое не становилось сном: время уплывало и ширилось, раскачивало и несло его по какому-то кругу так ощутимо, что он порою хватался за подстеленный под себя полог и не мог связать воедино наплывы памяти. На кругах этих явственно врывались в его слух мычанье коров и шелестящий голос матери, цепляющейся за поношенный казакин: „Вас-синька-а!“; звяканье цепей и отчаянный, оборванный хрипом вой в тусклой затхлости трюма баржи: „Не на..! угр...“; визгливый голос Бровина и тревожный перестук каторжной железки, в который врывается тонкий речитатив ходи-китайца: „моя холосо пиридумали... корени копали, дома жити носили... семли своя купити...“ „Гос=споди, кто же тебя, друг?“ – мучался Еремей, а пальцы скребли землю, в которую он должен был положить своего лекаря-избавителя. Время несло его своими кругами, распластывало по затопленной туманом вселенной и чаялось Еремею лишь увидеть хоть одну светящуюся в небе точку, за которую могла бы ухватиться мысль и не кружить, не кружить...

„Брежу ведь“, – вдруг ясно услышал собственный голос Еремей и неожиданно явственно увидел наклонившееся к нему лицо, – Сэдюк?“ Без удивления спросил, как в продолжение чертоворота.

Но это и в самом деле был он, старый тунгус. „Пей!“ – сказал, и губы Еремея пропустили спиртовой глоток, а на языке остался странный железный привкус. „Пей, пей. Кровь теперь хорошо... сохатого кровь... потом печень есть будем“.

...И вот уже лежит Еремей в шалаше старика. Старый брезент и вытертая ровдуга, растянутые легкими жердями, отделяли теперь больного Еремея от поглотившего мир тумана, и лежал Еремей в мешке старика на свернутой вдвое лосиной свежей шкуре. „Когда же успел поставить... а-а...“ – вяло думал больной, прикрывая веки и легко проваливаясь в теплое нынешнее забытие. Выходя из него, он находил Сэдюка, удлиненное лицо его и повязанный серой холщовой косынкой высокий лоб красновато высвечивались углями в небольшом чугушке, по другую сторону которого и сидел тунгус, попыхивая трубкой. У входа в шалаш огонь лениво лизал две толстые коряжины, а теплый воздух над чугушком с углями не давал туману забраться в верховое отверстие. Рядом со стариком лежал пес, и Еремей шевельнул губами, пытаясь улыбнуться мысли, что он пожалел все же Итика: „как старому без собаки... и нарту поможет... и... уберет меня Бог“.

Сэдюк встретил его затуманенный взгляд, вытащил трубку и вставил мундштук в губы Еремея: „Кури... ничего теперь“.

– Слушал тебя, – ровно и задумчиво говорил старый тунгус. – Худой дух в тебе... много душ приходит жить... а твоя впотьмах бродит... лечить надо... обратно посылать надо, – он махнул рукой с трубкой туда, где должна сейчас быть Полярная звезда. – Оттуда... их холод... худо жить тебе.

– Костер зря... спасибо, вернулся, – шевелил губами Еремей. – Зла не держишь... как лося нашел?... один ты...

– Итик, – повел рукой старик по короткой шее собаки. – Ты ночуй хорошо.

Он пошевелил угли, смотрел, как по красноватому их жару мелькают голубые змейки. Вернулся, думал, сил еще много, не позвал Ухэлог... и не оставил никому – как уйду? Ровная тоска лежала на душе Сэдюка, как сонный налим лежала: в глазах стоял почерневший от давнего пожара лес, тихий ручей ныряет под упавшие, будто могучим вихрем порушенные деревья с вырванными корнями и поднятыми в корнях пластами земли, как руки вздернуты к небу толстые корни из них... „Край солнца оторвался, упал... не Ухэлог ли правил агды-гром туда?“ Там и проводил он Ухэлога к верхним людям... еще дымилась старательская избушка, у которой и сейчас лежит покоробившийся деревянный желоб... Сэдюк двинул рукой кожаный жесткий мешочек, шершавый от вьевшейся в него глины или другой высохшей грязи. Тяжелый мешок, хоть и не так велик, ссохшейся сыромятиной перевязанный, он не развязывал его... и так знал, что там... рядом со сгнившим на костях армяке в той горелой избушке взял.

„Пусть так, – думал Сэдюк, – кто остановит...“ Он взял кусок бересты с ладонь, взглянул в сумрачные желтоватые глаза Итика и стал царапать кончиком ножа по бересте.

Спустя время, закончив и увидя открытые глаза Еремея, завязал бересту в тот грязный мешок.

– Не надо ходить больше... Вот, – старик поднялся и грузно положил мешочек к Еремею. – Ивану ли отдай, сам... людям жить... пусть... Ка-теринэ, – он улыбнулся, произнося имя русское и повторил, – Арапэ... пусть. Устал я... вовсе...

Еремей высвободил ватную руку, потащил груз, приподнял, понял, что там: „Ого... фунтов тридцать... или еще того... мне так за пуд теперь тянется...“ – но равнодушно решил. Что ему?

– Откуда? – спросил он.

– Там... было... Тебе бы желчи агилкана... поможет. Боятся тебя... агилканом сам живешь, волк думают...

– Ну... все на страхе... самого съедят иначе... И тебя ведь боятся... туман ты на меня напустил?..

Сэдук мотнул головой, опустил угол рта скорбно: „сам человек на себя... в туман тащится“.

Он поднял лицо туда, к небу, где над туманом уже мчится охотник за оленем, оставляя позади себя искрящийся след Млечного пути... А в конце его дороги видел и вход туда, где им придется встретиться к Ухэлогом. „Не остановить движения этой реки, которая есть – жизнь. Мы уходим, приходят другие... и все начинается сызнова, каждому... свой опыт дороже... Вот когда мы вернемся... – скажет он Ухэлогу, – и кто будет охотником?.. кто оленем?..“ Потом Большому Ивану скажет.

2

Бессонницей красивый о. Варсонофий не страдал, и в этот раз провалился в сон, укрепленный привычной выпивкой в конце дневной суеты. Спал он на спине, разбрасывая руки в стороны крестом, но левая рука все натыкалась на стену, сползала по гладкой округлости бревна, и это отчего-то мешало ему, хоть и не вырывало из сна. И он метался на своей упругой пихтовой постели, все уstraивая непослушную руку, которая и во сне вот... никак не давала ему закрыть...

...Никак не удавалось попу закрыть на засов тяжелый притвор, обитый снаружи старинными медными листами с накладными полосами. Левая дверница притвора тяжело откатывалась... откуда-то поверх этого его бдения во сне пробивался вопрос – где ж это церковь такая, и невелика ведь, а украсна, как он стал в ней служить-то? – ... а отчего-то онемелая рука между тем все не могла во-время толкнуть засов, чтобы зашел он в нужный паз на правой половине... От волнения ли? Или со страху вдруг отнялась рука? Отчего и страху быть: он в своей ведь церкви, и дело сотворяет, освящённое древней традицией и... законом? Вот и страх отсюда: от неуверенности, смуты, что бессилён окажется, что нет у них запретов, что переступят через него... через совесть... и Спасителя...

И все же попал кое-как засовом и крюк большой поперечный накиннул. И только тогда оглянулся.

– Убежища... не выдай, поп-батька, а?.. – снова шептал человек, что достучался-таки до него, оставшегося отчего-то ныне ночевать в ризнице. „Да где же то?“ – спрашивал сам себя поверх сна о. Варсонофий, и сон опять заставлял его жить там... Позади у человека осталась ветряная мгlistая ночь, расползающееся под ногами бездорожье – это было видно по влажной грязи на босых ногах, по рваным бесформенным портам... из мешковины ли?.. по неожиданному и неуместному вроде бы тут, в русской церкви кафтану из ровдуги, не сходящемуся на груди, потертому и грязному, на котором все же можно еще различить узоры и оторочку свалывшимся мехом... под кафтаном, прямо на голом теле – тунгусский нагрудник, совсем новый и цветным бисером расшитый. Лицо человека смутно и плохо различимо, возраст тоже трудно было определить в сумраке, жилистой высокой фигурой – вроде и не старый, но шея морщинистая и волосы лохматые – сивы...

– Голоден, небось? – спрашивает о. Варсонофий, зная и ответ, но так – чтобы чуть время притормозить для мысли, спрашивает.

– Попить бы, – голос срывается, а слух – видно как – еще там, за дверями тяжелыми. Да что услышишь-то, кроме ветра осеннего, это уж коли по ступеням шаги раздадутся...

Кто преследует? Чем виновен? Откуда бежит?.. Мечется над сном о. Варсонофий неразгаданностью. Но не спрашивает пока: в глаза пока смотрит – загнанный взгляд, в себе взгляд

человеческий, ищущий взгляд... Чего же?.. сам скажет, не торопит священник. Здесь у него – убежище, здесь – и раскаяние, коли грешен, здесь может духом отойти и утвердиться... Потом...

Смотрит на них Спаситель, кротко смотрит – ни у кого нет перед ним вины... перед собой лишь. „Должна же быть еще Богородица... мать божия кроткая и молодая...“ – мечется, недоумевающая ясная мысль. Теплится лампада и тихо мерцает улыбка Христа: на них смотрит и еще напротив себя, сквозь них. Знает отец Варсонофий, куда смотрит Спас: на себя самого, руки по перекладине распростершего, на бессильную голову свою, в страдании опущенную. Человек он там – напротив, в боли человек и отчаянии... и... прости меня, прости... в упреке им всем, вот не надо бы. Но стоны спящего священника никто не слышит.

– Вот, – протягивает попик несколько просвирок. Что он может дать здесь, кроме хлеба? Кагор вот еще...

– О! – глаза человека оживляются вовсе земно. – Арака-винка... хорошо теперь станет... не страшно!

Тунгус он, что ли? Тогда слово откуда знает такое: „Убежища?!.. впрочем, храм всем открыт, здесь любой душу уравновесить может, кто... к истине дорогу? ищет? Что – истина? Добро есть Бог... и Бог – есть Добро. Что же этот ищет... беглец? преследуемый? гонимый?.. и чем он-то может помочь, кроме прописных истин заученных... не верит ведь он в них с тех самых пор... с тех, как узнал о Глаше... Но прочь это!..

– Землю сокрыл, – бормочет тот. – Большая земля... гной в ней желтый! Заражаются люди – бешеными станут... Слово забудут!

– Какое слово? – спрашивает о. Варсонофий, а у самого мысли прыгают: „Сумасшедший... да не о том я... о чем? кто?..“

– Слово, слово... – бормочет беглец. И пальцем туда, ко входу. – Вот! Лгать станут тебе... как себе лгать!

И правда: шум, топанье, голоса грубые и визгливые... на языках разных. Он русский различает... ага, и по-тунгусски говорят, и еще разно, да интонация одна: отворяй, мол... Колодят уже – в храм. В храм ведь?.. „Побудь... ничего, – почему-то шопотом говорит о. Варсонофий, будто и сам он скрывается здесь, будто не Одному лишь здесь он приказчик. – Сиди... я выйду!“

Тяжело идти ему, будто в гору крутую поднимается... вот так и Петр, веру утратив, тонуть начал... о человеческом думал, и страх человеков – ноги огрузил. Но не посмеют же преступить!

– Кто? – тихо спросил, а услышан сразу.

– Народ мы! – ответили. – Именем... закона!.. и пользы! Открывай!..

И сметают уже его с дороги, что голос его, пусть и рокочущий львино?.. пусть и стенами высокими усиленный? убежище?!

– Не может быть убежища – одному от многих! Как все...

– Истина... – пробует возразить о. Варсонофий.

– Нет одному истинности! В необходимости она! – крикнули ему на ходу. – И в порядке, для всех устроенном!.. в пользе общей! Держава и народ! Проклятье... кто не подчинится...

Отступает он и видит, как гаснет лампада. Но они ведь тоже правильное слово говорят... что же – порядок?.. кому – необходимость?.. в чем – польза?.. „Укажут!“ – кричат.

А беглеца уже вытаскивают из ризницы, уже кровенится улыбка его сухих губ... и не испуган взгляд, обращенный к о. Варсонофию, – смотри, мол. „Землю от людей сокрыл, – возмущаются. – Найдем!“

– Смотри, – шепчет человек, и теперь „поп-батка“ видит его лицо, узнает его: „Сэдук?.. но он же не пьет... а-а, какая разница-то!..“

И бросает Сэдук камни. „Не здесь!“ – хочет крикнуть о. Варсонофий. „Гной это... как узнают... бросить им“, – шепчет Сэдук.

Свалка, свалка, свалка, не поймешь теперь и вовсе, на каких языках рычат люди. „Ибо жестоки, жнут, где не сеяли, и собирают, где не рассыпали“, – вспоминал о. Варсонофий.

Одни стоят они в стороне, забытые, он и Сэдук, больно усмехающийся одними губами, ибо в глазах отчаяние: „Большая земля... Ухэлог сказал – бешеными станут... в свой хвост...“

– Не в земле – в вас тот гной... жестокостью и ложью, – вдруг внятно произнес Тот, на кресте, а Смотрящий на него прикрыл глаза. – *Male parta male dilabuntur...*

„... прахом пойдет“, – шепотом повторил о. Варсонофий.

Застыл Сэдук: „чем торжествуешь ты?“, плечи его опустились, старческими теперь кажутся вовсе. Постоял, прикрыв глаза, потом пошел вон, не оглядываясь... „постой...“ – шепчет священник. – Подумаем вместе... это лишь проклятая страсть... *Auri sacra tamis...* „Да не знает же он по-латыни-то“, – застонал про себя, глядя как удаляется Сэдук... И здесь петух пропел. „Откуда в церкви петух?“ – удивляется о. Варсонофий, открывая глаза. Но темно в этой яви его пробуждения – от собственного ли крика?.. или это сердце толкается ему где-то у самого горла? Он прикрыл глаза, не желая выходить из сна, как в муку себя погружая – но и сладостную, потому что во сне все, не в яви, где не будет сейчас ни забытой латыни, ни сухих накровавленных губ Сэдука, ни сиротливых костлявых плеч старого тунгуса. Но из сна выплыл этот инженер, Лужин этот, которому он, торопясь, сопротивлялся: „... сказками, говорите? Они тысячелетиями складывались страданием и опытом... в мудрость веры и надежды... что отрицанием, взамен что?.. „во многой мудрости много печали“, сказано, а печаль – понимание... подождите!.. упразднить в момент мудро ли? Нельзя из желания осчастливить противопоставить добрых злым... чистых нечистым, нет до конца ни тех, ни других... а вот проявить общее – нет времени, говорите? – общее... что жить на земле всем дано, не бороться с себе подобными в мир пришел, а себя понять в нем и его в себе... Да, культура, а не борьба решить такое может... ибо борьба – смута... смута и сомнение разное суть... Чтобы в себе мог сомневаться, а не в соседе... „не имамы бо zde пребывающего града, но грядущего взыскуем...“

Да причем здесь Лужин? – вскинулся о. Варсонофий и открыл глаза. – Ни при чем он здесь вовсе“. Он поднял тяжелую голову.

Но выйдя во двор, Варсонофий именно Лужина увидел рядом с купцом. Солнце уже растопило ночной приморозок, и день обещал быть веселым, „Бабье лето, смотри?“

– Вот и ты сейчас о том же, небось, скажешь – зря, мол, и уходить надо добром, – встретил попа возбужденный голос Ивана Кузьмича. Он кивнул на инженера. – Меня убеждает... Ну, хорошо-ладно, пред Богом все равны... а дело? Вон дай тому Тонкулю купцом быть... иль генералом – равный же! – он даже засмеялся, представив. – Вон мой Кирилл легкие отхаркивает... а тогда бы и вовсе под бой людишек поставил, кровью захлебнемся...

– Это что нас встречал? Смышленный тунгус, молодой, – Лужин засмеялся и попробовал передразнить говор: – „Убивали нада такой худой люди“ – это он про вас, Иван Кузьмич, говорил. И верно ведь! А?..

– Про меня? Это ведь он старику проклятие крикнул, – и неожиданно лицо у Бровина покраснело от злости. – Прогорели бы! Вы все чужими руками норовите... а сами чистые!.. Сибирь вам дайте... меха бабам пришлите... золотишко... А потом – „по совести, да грабители“, шелуха одна, блуд словесный! Прокормиться сам сможешь? Вот и всем одинако хорошо сделай, ну-тка!..

– Сделаем, – засмеялся инженер. – А Кирилл где? Иванович?

– Ох, Иван, – вмешался в разговор о. Варсонофий, – недобро мне снилось...

– Вот с ним и поговори, – махнул всердцах Иван Кузьмич на Лужина. – Вам бы разговоры... – и осекся: – Не сердись, отче, мне и самому что-то... – он проводил взглядом инже-

нера, взявшего притуленную к стене двухстволку и сказавшего „тут поброжу, может, рябков выхожу к ужину“, и вновь обратился к попу:

– Осень-то, вишь, не торопится... как заказано. А собираться будем... ску-ушно мне стало, Варсонофий. Ничего не надо. И ты ведь мне о том теперь сказать хотел?..

Он знал, что о старом Сэдюке будет говорить друг-духовник, что не сможет он объяснить свою все растущую ненависть и к старому тунгусу, неизвестно куда ушедшему, и даже к самому отцу Варсонофию, страдание которого колотьем в сердце словно упрекало и, хуже, отчего-то унижало его собственную жизнь. „Но мне Любаву... устраивать нам надо, и Кирилл не в попрек“, – вяло подумал и вспомнил, как измучила его вдруг Любовь своими придирками и холодной разумностью, как косится она на Кирилла, ровно оскорбленная, что так просто решилось... Как никогда, захотелось ему вдруг в какой-нибудь город – „свой ли?.. нет, чтобы не знал никто!“ – как захотелось затеряться в толпе, услышать перезвон колоколов и зайти в освещенную, светом многих свечей горящую церковь, слушать пение и всматриваться в темные лики, и плакать от жалости, а потом понестись на лихаче вдоль промороженной улицы и подняться в ресторан, где непременно расстегаи с тройной ухой из севрюги, с шампанским во льду, с молочным поросенком и шоколадом к кофе, которые и не по вкусу бы, а отчего-то необходимы в этих представлениях, как скрипка и россыпи мандаринов, как темно-вишневый бархат платья, в котором он непременно видел Любаву, как...

– Сказал я Кириллу Иванычу к Гарпанче пойти... пусть парень ко мне тунгусов своих правит... пусть, а не то... подожду ведь я все к... матери! – он махнул рукой на факторию, на лабаз, ощущая, что не очень удивило отца Варсонофия, и обозлясь собственным нетерпением, а того больше – мыслью сверлящей: „местью то все выходит... получается, и ничем боле... Сэдюку-то...“

– Эх, Иван... – что еще мог сказать о. Варсонофий.

3

Только теперь он понял, чему удивился тот молодой тунгус в чуме. Кирилл попросил девушку объяснить ему, чтобы осторожней пока рукой больной работал: „А то привычный вывих сделается... ну, постоянный... сама кость выскакивать будет, скажи“. Он вспомнил, как обозначил отец отношения девушки с охотником: „своди-ко, хунат-девушка, Кирилл Иваныча к Гарпанче. Жениха своего проведай... да передай, пусть идут... всё торгуем“.

День стоял яркий, чуть ли не по-весеннему ласковое солнце растопило низкий ночной туман, ключья которого еще путались под деревьями, а здесь на поляне у чумов было хорошо, и Кириллу не хотелось заходить внутрь. Однако Гарпанча, уловив и предупреждая любопытство соседей, пропустил их внутрь.

Они говорили, и Кирилл с внезапным удивлением понял, что Катя – он так только и звал ее, и не мог заставить себя выговорить ее тунгусское имя „Арапас, Арапэ“, – говорит с Гарпанчой только по-русски, старательно подбирая слова, хотя он отвечает по-своему. Она была в кафтане, надетом на зеленое платье, оно, казалось, добавляло темной зелени глазам, а шапочка, отороченная светлым мехом – горноста? – и расшитая на закругленных наушниках бисером, подчеркивала смуглость щек и сочность пурпурных мягких губ. Но особо щемяще влекла его взгляд шея девушки, высоко поднимавшая круглую ее голову с черной косой, словно саможивно сбегаящей по спине...

– Брат мой... – несколько раз повторила девушка, произвольным и сладостным Кириллу лебяжьим движением поднимая голову на своей невозможной шее. Взгляд ее между тем темнеет и останавливается на опустелом ложе отца. – Брат...

Гарпанча, неловко показывая Кириллу место на малу³ – гостю, вглядывался в них все внимательнее, глаза его все больше грустнели, он ощутил, кажется, эту намеренную отделённость Арапас и со скрытой горечью подтвердил: „сестра, да... нэкун хунат...“ – Что мог он поделаться с душой, которая уже летела в другую сторону?...

Кирилл еще повторил свой совет, мягко коснулся пальцами еще подвязанной руки парня и вышел, чтобы не мешать им: „Поброжу... к реке пойду“. И улыбнулся неожиданно для себя растерянно, поймав метнувшийся зеленый взгляд девушки, пытаясь вынести подкатывающийся кашель за пределы чумы.

...Он вышел к реке, но берег здесь оказался крут, и Кирилл медленно побрел выше по течению, вдыхая стылую прохладу, что поднималась от темной воды. И хотя солнце весело освещало землю, а на нем была эта собочья дошка, стынь речная проникала в него; а бегущая в нескольких саженьях под берегом неостановимая вода казалась враждебной в своем равнодушном течении. Но отчего-то это враждебное равнодушие и зачаровывало – быть может, это она связывает „ниоткуда“ и „никуда“ и будет она течь так вечно... „Aeternitas“, – повторил он, прислушиваясь к себе и холодея от самой объемной недоступности слова, которое никак не вмещает в себя человеческую жизнь. – Вечность... как бестелесно было для них это слово в гимназии, когда их заставляли заучивать из Горация... про какого-то крестьянина, который все ждет... пока протечет река... а она все течет куда-то *et labetur in omne volubilis aevum*... да, вечно! А люди копошатся, завидуют, воюют и уничтожают себя, укорачивая даже ту каплю времени, что отпущена им на жизнь...» Ему сейчас остро, до нутряного стога, совсем не так, как в госпитале, и не как на фронте, – невыносимо и до слез осозналась собственная обреченность и до вопля же захотелось жить, жить, просто жить... он смотрел на движущийся тяжелый поток, который гасил в себе солнце, лишь тёмно зеленея от утонувших лучей, и ему казалось, быть может, самым мудрым сейчас... войти и раствориться в этом потоке и пусть несет его...

– Бой-е... – услышал он над собою, вздрогнул, и ощутил горячий восторг от невесомости узких пальцев, прикоснувшихся к его затылку и паутинкой опустившихся на плечо, с которого съехала эта тяжелая отцовская доха. – Нельзя... здесь холодно тебе, бое... Идем!

Он задохнулся этим неожиданным и непонятным восторгом – от разделенности его жути, от внезапной вырванности из его готового к исходу одиночества... где-то внутри в нем стыло понимание, что бездна, отпустившая на время, становится еще чудовищней... ибо несет теперь и утрату этого... этого...

Он поднялся в порыве нежности и жути, и восторга, роняя шубу и стыдясь содрогающегося своего худого тела, и увидел глаза, поднятые к нему, смуглое лицо с невинным кораллом губ, высокую шею, поднимавшую к нему это лицо... Кирилл взял тонкие запястья рук, в которых не было хрупкости, и зарылся лицом в маленькие горячие ладони. «Идем же, бое... за мой».

Она уводила его от холодных вод через притихший лес, через облитые солнцем сухие поляны с пожухлой травой, через оголенные кусты с темно-бардовыми ягодами, уводила ведомой лишь ей тропой, а он шел без мыслей и сомнений, и тревоги, так разъедавших мозг последний год, и покой этой земли, по которой мелькали впереди маленькие торбаса, стянутые в тонких щиколках, входил в его отравленные легкие, в измученное одиночим знанием сердце.

Кирилл смотрел на это мелькание легких ног, на устремленную вперед фигуру, кажущуюся готовой оторваться и взлететь, на закинутую шею и чутошный, в уголок вздернутого к виску глаза, быстрый лиловый взгляд, смотрел задыхаясь и позабыв о собственном дыхании, которое все же хрипело в горле. И несмотря на тяжесть, откатывающуюся в ноги, ему казалось, что он также легко может сейчас догнать ее; но лишь ненадолго, потому что в следующий момент он ощутил себя запыленным кентавром, тяжело топчущим кентавром, готовым раз-

³ Малу – место для гостя (тунг.)

рыдаться от страсти и бессилия, и обреченности утраты, горшей тем острее, что и обретение лишь мелькнуло, лишь поманило... Он задохнулся.

А она уже ждала его, и тревога обозначилась в ее легкой руке, поднятой ему навстречу, заставила Кирилла собрать силы и поверить, что тревога та обращена к нему и что он еще должен суметь растопить ту тревогу... Она поняла его слабость, конечно, однако тень ушла из ее глаз, едва он приблизился; и он оценил такт, присущий тому истинному женскому началу, по которому тоскуется и плачется во сне еще двенадцатилетнему мальчику в неосознанной жажде первого мужского обладания Евой, жажде, лукаво пробужденной в Эдеме и понуждающей искать и ошибаться, мучаясь, и вновь искать и плакать горячими ночами по утраченному ребру, по тоске о соединении, о разделенности своего так рано познаваемого одиночества...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.